

[Polaris]

Н. ТАСИН



КАТАСТРОФА

Фантастический роман

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLIII



Salamandra P.V.V.

Н. ТАСИН

КАТАСТРОФА

Фантастический
роман

Том II

Salamandra P.V.V.

Тасин Н. (Коган / Каган Н. Я.)

Катастрофа: Фантастический роман. Том II. Подг. текста и послесл. М. Фоменко. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 132 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLIII).

«Катастрофа» (1922) журналиста, переводчика и писателя-фантаста Н. Тасина (Н. Я. Когана / Кагана) – одно из самых примечательных научно-фантастических произведений, изданных в эмиграции. В этом остросюжетном романе рассказывается о том, как люди Земли отражают нашествие марсианских монстров-зооавров. Для спасения от них человечеству приходится уйти в подземный мир.

© М. Fomenko, подг. текста, послесловие, 2016

© Salamandra P.V.V., оформление, 2016

Н. ТАСИНЪ

КАТАСТРОФА

**ФАНТАСТИЧЕСКІЙ
РОМАНЪ**

**Русское Универсальное Издательство
Берлинъ
1922**

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

27 июля подземный город был готов.

Это был Париж в миниатюре, без его широких перспектив, без его величавой и импозантной красоты, без ярких красок и бликов, без тысячи капризно меняющихся оттенков, а, главное, без неба, то ясного и смеющегося, то грозно насупившегося, но вечно, неизменно прекрасного, навещающего человечеству столько золотых снов.

Подземный Париж был бледным отражением надземного. Так отражается в мутной воде стоящий на берегу гордый, царственно-величавый замок: как будто те же формы, то же расположение отдельных частей, но контуры неясны, расплывчаты, нет жизни, нет того, что составляет душу здания.

Правильными, безупречными линиями тянулись длинные, ровные и прямые, точно в ниточку вытянутые улицы, связанные, как узлами, обширными круглыми или восьмиугольными площадями. Дома, однообразные, так похожие друг на друга, что если б не нумерация, их легко было бы перепутать, тоже стояли безупречно правильными рядами, точно приготовившиеся к смотру солдаты.

Только немногие правительственные и общественные здания были построены не по общему шаблону, но и они, при всей своей красоте и богатству стиля, казались обвешанными скукой, и взор разочарованно отрывался от них, с тоской ища вокруг чего-то недостающего: не доставало все того же вечно прекрасного, неизменно милого неба. И теперь, когда людям пришлось расстаться с ним надолго, быть может, навсегда, оно казалось им еще неизмеримо прекраснее и милее. И теперь только они стали понимать, что красота не в гордых архитектурных линиях, не в прихотливом богатстве стиля, не в созданном руками человечески-

ми изяществе форм, а в том, что надо всем этим царственным шатром раскинулось бездонное, вечно влекущее и вечно меняющееся небо.

Люди, попадавшие в первый раз в подземный город, бросив беглый взгляд на безупречно прямые улицы со всеми их архитектурными чудесами, поднимали глаза вверх, но вместо привычного неба встречали там тяжелые каменные своды, и невольный вздох вырывался из груди их.

— А неба-то и нет! — говорили они.

И в этих тоскливых словах заключался беспощадный приговор над чудесным созданием человека, который в такое короткое время, на глубине сотен метров, в извечном мраке недр земных, вызвал к жизни огромный город с улицами, площадями и каналами, с громадами домов и дворцов, с фабриками и заводами. Одного только не мог создать гений человеческий: неба и животворящего солнца.

Правда, над подземным городом светило искусственное солнце, светило ярким светом, мало отличающимся от света настоящего солнца, но и это была только бледная копия, более или менее удачная подделка. Слишком уж ровно оно светило; негреющим и холодным был свет его; никогда оно не хмурилось, не затуманивалось, как облаком раздумья, тяжелыми тучами, не капризничало, не поддавалось переменам настроения. Безжизненное, утром такое же, как ночью, сегодня такое же, как вчера, лило оно, точно исправный наемник, свой ровный холодный свет, который никого не радовал, ни в ком не вызывал улыбки восторга.

Да, не хватало неба и солнца, но с этим надо было мириться, как мирятся с отсутствием близких и любимых существ. И надо было устраиваться в новом жилище, устраиваться прочно и надолго.

Почти весь подземный Париж был уже заселен. По мере сооружения отдельных его участков, в него спускались, по жребию, один квартал за другим.

Люди забирали с собой мебель, посуду, ковры, книги, картины и всякие хозяйственные мелочи. Богатые семьи, у которых было слишком много вещей, не могли разместить

их в своих новых квартирах, состоявших всего лишь из двух комнат, и скрепя сердце отдавали часть их в общественные склады.

Оставалось заселить лишь последний, только что законченный участок, который тянулся под бульваром Араго и прилегающими к нему улицами.

Будущие обитатели этого участка с тем большим нетерпением ждали вождя дна и часа своего переселения в подземный город, что они оставались одни в почти опустевшем городе и чувствовали себя как на покинутом пепелище.

Надземный Париж с каждым днем представлял все более печальное зрелище. Каждую ночь налетали зоотавры, прибавляя к старым развалинам новые и, как бы мстя людям за их бегство, с злобной яростью, до основания разрушали оставленные ими жилища. Но с еще большей жестокостью они набрасывались на заселенные еще улицы, словно торопясь натешиться над их обитателями, пока те еще не успели бежать.

Наконец, 27 июля, около полудня, началось переселение оставшихся еще в Париже жителей в подземный город.

Их было около пятидесяти тысяч.

Беспрерывно работали обширные подземные платформы пяти ближайших к этому кварталу спусков. Вокруг них происходила страшная давка, и полиция с трудом удерживала натиск толпы. Хотя до ночи, которой так боялись, оставалось еще много времени, люди обнаруживали лихорадочное нетерпение, нервничали, делали отчаянные усилия возможно скорей пробиться на платформы, словно боясь, что их оставят тут, в этом мертвом, безлюдном Париже.

В первую очередь спускали больных и раненых, которых было очень много. Несколько женщин во что бы то ни стало хотели взять с собой трупы своих убитых минувшей ночью, при налете зоотавров, детей. Одна из них, крепко прижимая к груди закутанный в одеяло трупик своего ребенка, с упорством безумия не хотела расстаться с ним.

— Нет, нет! Ни за что! — кричала несчастная, рассудок которой померк от горя. — Как можете вы требовать, чтоб я его оставила здесь? Они ведь его тут убьют, эти проклятые зоотавры, убьют мою крошку, моего ненаглядного маленького Пьера!

И когда у нее силой отняли труп ее сына, она, истерически рыдая, бросилась на колени перед теми, которые отняли его, умоляла, грозила, осыпала их бешеными проклятиями, билась головой о каменный пол платформы.

— Она с ума сошла! — слышался вокруг придушенный шепот.

Не одна с ума сошла: среди оставшихся еще в Париже были сотни сумасшедших. Некоторые покорно позволяли вести себя к платформам, не понимая, куда их ведут и не интересуясь этим; но были и буйные помешанные, которые отчаянно упирались, кусались, царапались. Таких приходилось связывать; но и связанные, они судорожно бились и так надрывались от крика, что на губах у них выступала пена.

Случалось, что сумасшедшие бежали от родных или санитаров, которые вели их к спускам, забивались в какое-нибудь разрушенное здание и там, среди успевших уже порости бурьяном груд камней, отсиживались долгими часами, как спрятавшиеся от своих преследователей звери. Некоторых так и не нашли, и они остались наверху, в вымершем Париже.

Впрочем, они были не одни. Нашлось среди парижан еще несколько десятков человек, которые, хотя и не были сумасшедшими, отказались спуститься в подземный город. Это были преимущественно кюре и монахи, которые видели в постигшей людей напасти кару Божью и считали тяжким грехом бежать от нее... Остались наверху и несколько человек, которые принадлежали к так называемому кружку Первобытных людей и так глубоко презирали современную культуру, что одевались в звериные шкуры, круглый год спали на голой земле где-нибудь в окрестностях, питались продуктами полей и лесов и никогда не брали в руки денег.

— Там, под землей, совсем задохнешься от этой проклятой культуры! — отвечали они на настойчивые приглашения спуститься в подземный город.

Среди них выделялся приобретший большую популярность своими причудами престарелый философ Круазеле, весь обросший, как зверь, волосами, в течение многих лет не умывавшийся и неумоимо составлявший фантастические проекты совершенного человеческого общества.

Это были последние могикане, которых зарывавшиеся под землю парижане как бы оставили на страже своего покинутого становища. Они жили в разных концах города, почти не встречались друг с другом, а если им и случалось сталкиваться, убегали, как бежит очутившийся на пустынном острове человек, завидев опасного зверя. Целыми днями бродили они по загроможденным развалинами улицам в поисках оставшейся после парижан пищи, и если находили что либо, забирались в какой-нибудь разрушенный дом, подобно тому, как прячутся в свою нору звери, которым посчастливилось найти добычу.

Скоро они совсем одичали и совершенно потеряли человеческий облик.

II.

На 1 августа назначено было торжественное освящение подземного Парижа.

Именитые гости собрались в обширных салонах дворца правительственных учреждений, которые по этому случаю были декорированы пальмами, цветами и богато вышитыми национальными флагами. Площадь Согласия, на которую выходил дворец, уже с утра была густо залита стекавшимся со всех сторон народом. Над нею тоже колыхались сотни флагов. С широкого балкона дворца свешивалось огромное знамя с надписью: «Слава человеческому гению!»

К десяти часам утра наплыв народа был уже так велик, что трамвайное сообщение по прилегающим к площади Со-

гласия улицам было совершенно парализовано. Пассажирские аэробусы, летавшие из конца в конец города на высоте полусотни метров, то и дело высаживали на площадь группы новых любопытных; многие граждане прилетали на своих аэромоторах-лилипутах и долго кружили над толпой, выискивая свободное местечко для спуска. Толпа встречала аэробусы и аэромоторы незлобивыми шутками.

— Зоотавр! — острили парижане. — Смотрите, как он кружит!

— Это он добычу пожирнее высматривает.

— Ишь, чуть не налетел на солнце!

— Чего доброго, еще настоящие зоотавры на торжество явятся!

— Следовало бы пригласить их, а то обидятся!

Толпа, в ожидании начала торжества, развлекалась как могла. То и дело в той или иной группе начинали хором петь какую-нибудь популярную песенку. Особенно охотно напевали и насвистывали ставшую достоянием улицы песенку Барро, причем тысячи голосов с большим воодушевлением подхватывали бойкий, всем прекрасно знакомый припев:

Прилетели зоотавры
С Марса!
Мы отправим зоотавров
К черту!

Продавцы газет оглашали площадь криками: «Первый номер “Подземного Парижа”! Купите “Подземный Париж”! Подробное описание вчерашнего налета зоотавров!»

Уличные торговцы, с трудом протискиваясь через толпу, высоко над головой поднимали свои лотки и зычными голосами выхваливали свой товар.

— Свежие пирожки, спеченные в первой пекарне подземного Парижа! Не чета надземным!

Мальчишки производили адский шум свистульками и трубами из папье-маше. Какой-то молодой человек с буй-

ной шевелюрой, взобравшись на спины своих ближайших соседей, отчаянно жестикулировал и, размахивая, как знаменем, своей широкополой шляпой, то и дело выкрикивал во всю силу легких:

— Граждане! Минуту внимания!..

— Слушайте оратора! Внимание! — кричали со всех сторон; но эти окрики лишь увеличивали шум, и оратору пришлось покинуть свою импровизированную трибуну.

Ровно в полдень, со стороны президентского дворца, находившегося тут же, на площади Согласия, послышались торжественные звуки национального гимна: муниципальный оркестр встречал вышедшего из своего дома и направлявшегося к дворцу правительственных учреждений Стефена.

Толпа заколыхалась, как взволнованное ветром поле. Раздались крики:

— Да здравствует президент!

— Дорогу президенту!

Окруженный своими ближайшими сотрудниками, шел Стефен, сильно исхудавший, поседевший и согнувшийся. Толпа почтительно расступалась перед ним, образуя широкий проход, который снова замыкался, как только он проходил. В воздухе мелькали шляпы и носовые платки. Дружное «ура» вспыхивало то в одном, то в другом конце площади. Стефен, с гордой, счастливой улыбкой на лице, кланялся направо и налево и пожимал протягивавшиеся к нему со всех сторон руки.

— Ура! Да здравствует президент! — все громче и восторженнее кричали тысячи голосов.

Вдруг резкий свист прорезал воздух, и когда головы повернулись в ту сторону, откуда он раздался, явственно, как удар бича, послышался крик:

— Долой правительство! Да здравствует социальная революция!

Несколько десятков голосов нерешительно подхватили этот крик, но он тотчас же заглушен был новыми могучими раскатами восторженных приветствий по адресу президента.

Облако печали прошло по лицу Стефена.

— Начинается! — сказал он шедшему рядом с ним Гаррисону. — От социального вопроса и под землей не скроешься.

— И слава Богу! — ответил тот. — Это знаменует торжество жизни везде и при всех условиях.

Несколько минут спустя Стефен, окруженный членами правительства и строительной комиссии, появился на балконе дворца правительственных учреждений, под великолепным знаменем с надписью «Слава человеческому гению!» Муниципальный оркестр снова встретил его национальным гимном, снова замелькали в воздухе шляпы и платки, и громовые раскаты «ура» почти совершенно заглушили музыку.

Когда оркестр умолк, Стефен поднял руку в знак того, что он хочет говорить.

— Тише! — раздался крики. — Внимание! Слушайте господина президента!

Мгновенно водворилась глубокая тишина. Многотысячная толпа затаила дыхание. Казалось, что сами дома, тесным кольцом обступавшие со всех сторон площадь, обратились в слух.

— Граждане! — взволнованно, громким, вибрирующим голосом, начал Стефен. — Сегодняшний день будет отмечен, как один из самых знаменательных дней в истории Франции и всего человечества. Он открывает новую эру в жизни нашей планеты. Изгнанные неведомыми враждебными силами с поверхности земли, мы ушли под землю, чтобы здесь начать новую жизнь. Пусть мы побеждены, пусть мы бежали с поля битвы от грозного врага, с которым не можем меряться силами; но само наше бегство сюда, то, что мы смогли устроить себе убежище на глубине сотен метров, в самых сокровенных недрах земли, само по себе уже знаменует победу духа человеческого.

Граждане! Я твердо верю, что здесь, под землей, мы станем лучше, чище, разумнее. Перед нами открываются новые перспективы и возможности. Уже спускаясь в подземный город, мы в значительной степени уничтожили разве-

диняющие людей социальные перегородки, стерли классовые различия, уравнивали богатых и бедных, свели на нет привилегии. Будем и дальше идти этим путем, единственным, который ведет ко всеобщему благоденствию!

Послышались восторженные аплодисменты, и крики «ура» могучими, все шире расходящимися раскатами прокатились из конца в конец площади и отозвались гулким эхом в прилегающих улицах.

— Граждане! — продолжал Стефен, снова водворив жестом руки тишину. — Наверху, в нашей старой обители, более или менее удовлетворительное разрешение социального вопроса наталкивалось на почти непреодолимые препятствия. Молох милитаризма, этот разросшийся до гигантских размеров монстр, требовал все новых и новых жертв. Постоянная угроза чудовищных международных конфликтов вызывала страшное напряжение всех сил. Необходимо было тратить миллиарды на содержание огромных армий, морских и воздушных флотов. Теперь, благодарение Создателю, все это отпадает. Нам не нужны больше ни дорогостоящие армии, ни морские и воздушные дредноуты, ни подводный флот. Настал, наконец, вожделенный день, когда мы имеем возможность перековать мечи в сошники. Ненужные больше гигантские оружейные заводы отныне будут работать на дело мирного преуспения. Миллионы людей, которые доныне были заняты делом истребления ближних или подготовкой к этому истреблению, смогут теперь отдаться производительному труду, что сразу поднимет всеобщее благосостояние. И с глубоким убеждением, что мы вступаем в новую эру, с горячей верой в будущее, я восклицаю: «Долой оружие! Да здравствует мирный труд на счастье человечества!»

Бурный энтузиазм охватил многочисленную аудиторию. Долго не смолкавшие крики восторга огласили площадь и прилегающие улицы. В группе, находившейся под самым балконом, на котором стоял Стефен, кто-то затянул чрезвычайно популярный в то время Гимн мира. Он был подхвачен сначала ближайшими соседями, а еще через минуту вся залитая народом площадь гремела могучими, бод-

рыми призывными аккордами во славу мира.

При последних аккордах, над толпой, поднявшись на спины соседей, появился какой-то старик и, выждав окончания гимна, зычным голосом скомандовал:

— Граждане! Кричите: «Долой оружие! Да здравствует мир!» Раз, два, три!

И послушная команде толпа, обнажив головы, стройно и дружно, точно хорошо спевшийся хор, трижды прокричала:

— Долой оружие!

— Да здравствует вечный мир!

По чьему-то знаку, оркестр с воодушевлением заиграл Гимн мира, который прослушан был в глубоком, религиозном молчании.

Это была внушительная манифестация против жестокого бога войны, который так долго душил бедное человечество. Лица светились глубокой верой в лучшие дни, взоры горели надеждой. Люди обменивались крепкими рукопожатиями и поздравляли друг друга как со светлым праздником. Казалось, что здесь, на этой площади, на глубине сотен метров, торжественно скреплялся великий договор о вечном мире.

Когда волнение несколько улеглось, Стефен, снова водворив жестом молчание, продолжал:

— Граждане! Пусть на всю жизнь запечатлеются в нашей памяти эти прекрасные, только что пережитые нами мгновения. Это исторические минуты. Они знаменуют великий поворот в жизни человечества. В первый раз за многие тысячи лет своего существования, оно победоносно вступает в новую стихию, подземную, — и все говорит за то, что в ней оно заживет новой жизнью, свободной от вековых грехов и предрассудков, от язв и тягот, которые тяжким бременем давили его на поверхности нашей планеты. А теперь позвольте мне, дорогие парижане, поздравить вас с новым, подземным Парижем. Он — дело ваших рук, вашей энергии, вашего коллективного гения. В нем еще многого недостает: столица Франции и, смею сказать, Европы, не создается в несколько недель. И без того достиг-

нуты чудеса. Этими чудесами, граждане, мы в значительной степени обязаны также нашей славной строительной комиссии с моим дорогим другом Кресби Гаррисоном во главе.

— Ура! Да здравствует Комиссия! Да здравствует Гаррисон! — раздались, под гром аплодисментов, дружные, оглушительные крики.

Гаррисон и его сотрудники, приблизившись к балюстраде балкона, поклонились.

Потом оркестр снова заиграл национальный гимн, который покрывали восторженные, долго не смолкавшие крики «ура».

Официальная часть торжества кончилась. Толпа дрогнула, заколыхалась; люди стали обмениваться впечатлениями; одни расходились, другие занимали их место. Там и сям снова, один за другим, появлялись над толпой ораторы, делая тщетные усилия обратиться к ней с речью.

— Граждане! — кричали они, отчаянно жестикулируя. — Одну минуту внимания!

Но их не слушали.

— Чего там! Лучше Стефена не скажешь! — говорили им.

Скоро один из распорядителей празднества, добившись тишины, предупредил, что сейчас публике будет преподнесен сюрприз.

— Для этого придется на время потушить солнце, — сказал он. — На несколько минут мы очутимся в абсолютной темноте.

— Браво! — ответила радостными криками толпа. — Мы уж успели соскучиться по ночи.

Минут пять спустя, солнце действительно потухло, как-то сразу, без всяких переходов. Наступила такая глубокая тьма, что люди не могли разглядеть собственной руки.

— Да здравствует ночь! — слышались со всех сторон крики.

Мальчишки в бурном восторге свистали, дули в игрушечные трубы и флейты, били в барабаны и, казалось, с ума сошли от радости. Такой ночи, такой абсолютной,

крошечной тьмы, люди никогда еще не знавали. Это было что-то новое, неизведанное, приятно волнующее своей новизной и в то же время жуткое.

— Вот это так ночь! — слышались исходящие откуда-то из темноты возгласы.

— Совсем как в могиле!

— Ну, в могиле, я думаю, светлее!

Вдруг длинная, похожая на огненное копьё, молния со свистом и шипением взвилась вверх и распалась под сводами на сотни звездочек. За ней взвилась другая, потом еще и еще. Загоравшиеся звездочки не гасли, а держались на высоте, под самыми сводами, и число их все росло и росло. Мало-помалу образовалось настоящее звездное небо. Можно было даже узнавать отдельные звезды.

— Юпитер! — кричали восторженные голоса.

— А вот и Венера! Точно ее с неба стащили.

— А это Большая Медведица!

— Смотрите, смотрите! Сатурн! Вон там, налево!

Появление каждой новой знакомой звезды встречалось дружными аплодисментами.

Но кульминационного пункта восторг толпы достиг тогда, когда несколько левее Большой Медведицы вдруг вспыхнула бледно-желтым светом луна.

Стало светлее. Луна обливала площадь с теснившейся на ней тысячеголовой толпой ровным бледным светом, от которого меркли звезды.

Когда толпа устала кричать и аплодировать, с балкона прозвучал громкий командный голос:

— Тушите луну!

Несколько секунд спустя луна потухла, тоже как-то сразу, без всяких переходов, не оставив после себя хотя бы мгновенного бледного зарева. Звезды стали ярче и вдруг начали беспорядочно передвигаться с места на место, точно играя в соседи. Они то отскакивали друг от друга, то собирались в небольшие группы, строились в правильные ряды, как бы готовясь к смотру, снова рассыпались. Это продолжалось минуты две. Наконец, стали вырисовываться под сводами отдельные, составленные из звезд, огромные

буквы. По мере их появления, толпа читала их вслух, и похоже было, что тысячи школьников, по команде учителя, выкрикивают, обучаясь грамоте, одну за другой буквы.

«Да здравствует подземный Париж» — загорелась мало-помалу под сводами гигантская огненная надпись, составленная из ярко горящих искусственных звезд.

И снова раздались долго не смолкавшие крики «ура».

Праздник кончился. Переливающая огнями надпись под сводами, казавшаяся гордым вызовом, который человек бросал всем враждебным ему силам, стала понемногу тускнеть и скоро совсем погасла. Но растекавшаяся черной лавой по улицам толпа долго еще находилась под впечатлением виденного и с глубоким чувством взволнованно повторяла:

— Да здравствует подземный Париж!

III.

Еще задолго до окончания работ по сооружению подземного Парижа, когда с полной очевидностью выяснилась техническая осуществимость этого предприятия, в разных пунктах Франции приступлено было к постройке целого ряда других подземных городов.

Первыми последовали примеру Парижа такие крупные города, как Лион, Марсель, Бордо, Лилль. Потом и десятки других городов, один за другим, приступили к подземным работам. Специальные, снаряжаемые местными муниципалитетами комиссии, съезжались со всех углов Франции в Париж для ознакомления с технической стороной дела.

По примеру Парижа, везде декретировалось чрезвычайно высокое обложение крупных капиталов. Лион, который пользовался репутацией красного города и муниципалитет которого был всецело в руках социалистов, провозгласил полную национализацию всех капиталов, точно также как и частных промышленных предприятий. Пострадавшие устраивали шумные демонстрации протеста и надоедали бес-

конечными жалобами центральному правительству, но вынуждены были смириться, особенно после того, как многие из них, в разных пунктах Франции, были жестоко избиты толпой или посажены в тюрьму.

Работы везде велись с лихорадочной энергией. Подхлестываемые непрерывными налетами зоотавров, охваченные все растущей паникой, миллионы французов спешили зарыться в землю. Душой этого грандиозного, беспрецедентного в истории человечества дела был Париж. Он являлся центром, из которого исходили распоряжения, проекты, указания. Подземная комиссия, руководимая Кресби Гаррисоном, рассылала во все концы Франции своих эмиссаров для руководства работами.

Вначале их встречали с нескрываемой враждебностью.

— Довольно уж Парижу куражиться над нами! — ворчали провинциалы. — Мы, слава Богу, не нуждаемся больше в его опеке.

В некоторых городах, как напр. в Бордо, Тулузе, Монпелье и Тарасконе, проявились даже, в довольно резкой форме, сепаратистские тенденции. Пылкие южане, всегда недолгобывавшие северян, решили, что наступил благоприятный момент для провозглашения полной политической автономии Юга.

Возбужденные толпы устраивали по улицам демонстративный шествия и оглашали воздух криками: «Долой Север! Да здравствует автономный Юг!» В Бордо даже образовался очень внушительный «Союз борьбы за автономию», но так как вся его энергия поглощалась борьбой с аналогичным союзом, основанным в Тулузе, то деятельность его не дала осязательных результатов.

Непримиримее всех оказался Тараскон. Он так и не сложил оружия перед Севером, т. е. перед Парижем, не пошел в Каноссу, как другие города Юга.

— Мы будем биться до последней капли крови, но живыми северянам не дадимся! — торжественно клялись друг другу тарасконцы. — И не надо нам их подземных городов!

Местная газетка «Маленький тарасконец» стала называться «Непримиримым тарасконцем» и разжигала патрио-

тизм своих сограждан до температуры каления. Каждая статья ее была грозным вызовом по адресу Севера. Но Север, под которым тарасконцы имели в виду главным образом Париж, не обращал или делал вид, что не обращает на эти громы и молнии никакого внимания. Добрые, но пылкие тарасконцы, до глубины своих южных сердец оскорбленные таким невниманием, выходили из себя, принимали еще более воинственные позы, еще с большим вызовом смотрели в сторону заносчивого Севера и еще энергичнее клялись умереть за великое дело автономии если не всего Юга, то хотя бы Тараскона.

Городок все больше стал походить на военный лагерь. Бравые тарасконцы расхаживали по улицам вооруженные с головы до ног, и за залитыми добрым тарасконским вином столиками таверн вдребезги разбивали полчища воображаемых врагов. Вытащили откуда-то заржавевшие от времени пушки, которые служили еще в войну 1914-1917 годов, и поставили их, на страх врагам, у всех входов в город. Была объявлена всеобщая военная мобилизация, на которую горячо откликнулось все население. Был даже сформирован женский боевой батальон. Отставной капитан воздушного флота Лемурье, которого тарасконцы называли «Львом воздуха» и который, благодаря гнусным проискам Севера, давно уже был не у дел, сформировал летучую боевую эскадру, располагавшую, впрочем, всего лишь двумя аэропланами устаревшего типа. На улицах и площадях то и дело производились маневры.

Но враг не показывался.

— Еще бы! — говорили бравые тарасконцы. — Эти северяне не так глупы, как это может показаться. Они прекрасно понимают, что встретят здесь энергичный отпор, и предпочитают сидеть дома.

— Быть может, они даже и не знают, что у нас тут происходит, — выражали сомнение другие.

— Ну, вот еще! Не беспокойтесь: весь Север зорко следит за нами. К тому же, они там читают нашу газету.

— Кто их знает! — не унимались скептики. — У них там столько собственных газет!

На всякий случай, «Непримиримый тарасконец» стал регулярно рассылаться, в закрытых конвертах, самому Стефену, всем видным членам правительства, депутатам, а также в редакции газет.

Но дни шли за днями, в Тарасконе все уж давно было готово для примерного отпора северянам, а те все еще продолжали игнорировать «орлиное гнездо», как окрестил свой родной город «Непримиримый тарасконец».

Наконец, когда тарасконцы уже и ждать перестали, когда «Маленький тарасконец», в язвительной, уничтожающей статье, заклеил северян именем жалких трусов, когда даже возник вопрос о переводе на мирное положение армии и летучей эскадры, — вдруг явились северяне. По крайней мере, в одно прекрасное утро начальник тарасконского Воздушного флота Лемурье получил от своего приятеля из Лиона не совсем ясную, но сильно взбудоражившую город телеграмму, которая гласила: «Северяне покончили с Лионом. Направляются в Тараскон. Примите меры».

Целые сутки прошли в лихорадочном ожидании. С утра до поздней ночи происходили усиленные репетиции предстоящего боя. Осматривали форты, чистили оружие, составляли стражу. Главный штаб провел всю ночь над разработкой боевых диспозиций. Тарасконцы были готовы.

На следующее утро действительно явились северяне. Но при виде их brave тарасконцы сначала выпучили от изумления глаза и раскрыли рты, а потом, заскрежетав зубами, разразились гневными проклятиями: вместо полчищ вооруженных северян явились всего лишь два эмиссара парижской Подземной комиссии.

Их приняли с леденящей холодностью. Но северяне этим нисколько не были смущены, как ни в чем не бывало представили свои полномочия и заявили, что они приехали со специальными указаниями относительно подземных работ.

Мэр города с достоинством ответил, что тарасконцы не нуждаются в указаниях Парижа.

— Потрудитесь передать вашему правительству, — сказал он, напирая на слово «вашему», — что Тараскон отделяется от Франции и становится автономной республикой.

Если б ваше правительство пожелало завязать с нами дипломатические сношения, мы готовы.

За мэром стояли вооруженные до зубов граждане, которые всем своим видом свидетельствовали о своей решимости до последней капли крови защищать священные права автономного Тараскона.

Эмиссары пробовали убеждать, доказывали вред сепаратистских тенденций в такой тяжелый момент, но мэр еще с большим достоинством положил конец дальнейшим разговорам.

— Милостивые государи! — заявил он им. — Мы вступим в переговоры только с уполномоченными для этой цели делегатами французского правительства. А теперь прощайте. Если б вы пожелали сегодня же уехать, мы препятствовать вам не будем.

И он, высоко подняв голову, вышел, сопровождаемый своим почетным караулом, который воинственно бряцал оружием.

Эмиссары переглянулись и пожали плечами.

— Надеюсь, нам дадут хоть возможность пообедать и выспаться с дороги! — сказал один из них.

— Я, черт возьми, начинаю в этом сомневаться! — ответил другой.

Он оказался прав: они везде наталкивались на безмолвный, но упорный бойкот. Все отели города оказались вдруг переполненными, рестораны и кафе вдруг превратились в частные клубы, куда посторонние не допускаются, в съестных лавках не оказалось ни грамма сыра или колбасы, а хозяева булочных как будто никогда не слышали, что такое хлеб. Несчастливым эмиссарам, провожаемым далеко не дружжелюбными взглядами тарасконцев, пришлось уехать.

Тарасконцы ликовали.

— Так будет поступлено со всеми северянами, которые вздумали бы посягать на наши священные права! — сказал мэр тоном человека, только что одержавшего крупную победу.

Когда инцидент этот стал известен в Париже, члены Комитета обороны от души посмеялись.

— Эти милые тарасконцы еще, того и гляди, войну нам объявят! — сказал Стефен. — Они пострашнее зоотавров будут!

Министр внутренних дел внес было предложение о посылке в Тараскон военного отряда для укрощения строптивых тарасконцев, но оно было отвергнуто.

— Господь с ними! — сказал Стефен. — У нас и без того немало хлопот. Пусть себе тешатся со своими автономиями!

И тарасконцев предоставили самим себе. Тщетно ждали они присылки официально уполномоченных послов от французского правительства; тщетно «Непримиримый тарасконец» в каждом номере очень прозрачно намекал, что Тараскон готов принять этих послов со всеми подобающими почестями: Париж упорно игнорировал его, как если б его и на свете не было.

— Коварный Север замышляет против нас какую-нибудь адскую штуку! — говорили тарасконцы.

Но коварный Север молчал, и это молчание смущало сильнее, чем все адские замыслы.

Зоотавры, между тем, продолжали громить город и губить людей. Необходимо было принять какие-либо меры. Более малодушные стали, сначала робко, а потом все настойчивее, говорить о необходимости завязать сношения если не с Парижем, то хоть с Лионом и другими ближайшими центрами. Но их клеймили именем предателей и изменников великому делу тарасконской независимости: власти решительно отказывались идти на какие бы то ни было компромиссы.

— Лучше погибнуть под развалинами города, чем идти в Каноссу! — говорили непримиримые.

Кончилось тем, что часть жителей, провожаемая глубоким презрением остальных, покинула город и перекочевала в Лион, Марсель, Тулузу и другие центры.

Число бегущих росло с каждым днем. Город пустел, многие дома и магазины стояли наглухо заколоченными. «Непримиримый тарасконец» одного за другим терял читателей. Последние могикане бродили грустные, но полные ре-

шимости победить или умереть; а так как побеждать некого было, то им приходилось только умереть.

Когда их оставалось не более трехсот человек, начальник тарасконского Воздушного флота Лемурье, вместе с мэром и другими властями, водрузил на центральной площади огромную мраморную доску с надписью: «Странник! Поведай миру, что мы легли здесь все триста, верные великому делу тарасконской независимости».

Так исчез с лица земли славный Тараскон.

IV.

В видах экономии времени, труда и денег, Комитет обороны и центральная строительная комиссия приняли было решение строить подземные города только под сравнительно крупными центрами, с таким расчетом, чтобы в них могло поместиться и население ближайших мелких городков и деревень. Но это решение оказалось неприменимым: осуществление такого плана превратило бы подземную Францию в ряд отдельных, совершенно изолированных друг от друга провинций и сделало бы невозможным какие бы то ни было сношения между ними. Волей-неволей приходилось рыть сотни подземных городов и тысячи подземных деревень, связывая их настолько широкими туннелями, чтобы по ним могли циркулировать поезда и пассажирские аэробусы.

От Марселя до Гавра и от германской границы до берегов Ла-Манша кипела лихорадочная работа. Сотни, тысячи человеческих муравейников зарывались под землю. В Париже то и дело получались известия о ходе работ, которые горячо комментировались, как если б это были режиссерские указания к театру войны.

Пока хоть часть парижан оставалась на поверхности, сообщение с провинцией, хотя и не совсем регулярное, все же поддерживалось. Но с того дня, как подземный Париж поглотил все население надземного, он оказался совершен-

но отрезанным от остальной Франции . Мозг страны как бы отделился от ее туловища. В провинции могли происходить чрезвычайно важные, решающие события, а столица не только не была бы в состоянии реагировать ни на них, но даже ничего бы о них не знала.

— Этак всякие Руаны, Лилли и Бордо тоже, чего доброго, по примеру Тараскона провозгласят себя независимыми! — полушутя, полусерьезно говорил Стефен.

— И тогда — прощай Франция! — в тон ему отвечал Гаррисон. — Нет, это не годится. Придется учредить наверху, при радиотелеграфе, дежурство. Правда, он сильно пострадал от зоотавров, но его можно будет исправить.

Кликнули клич, и тотчас же нашлись сотни добровольцев, преимущественно из студентов высших технических школ.

Радиотелеграф был исправлен, и на нем были учреждены дневные и ночные дежурства. Дважды в сутки, по утрам и вечерам, поднимали и снова спускали дежурных.

Жутко было сидеть ночью в узкой башне среди вымершего города, под оглушительный треск невидимых гигантских моторов и грохот обрушивавшихся зданий. Ночные дежурные были как бы одинокими часовыми на передовых аванпостах, находившихся в непосредственной близости от опасного врага.

Скоро часть их погибла при налете одного зоотавра, причем радиотелеграф был разрушен почти до основания. Снова пришлось вызывать добровольцев для сооружения новой радиотелеграфной станции.

Таким путем, ценой тяжких усилий и жертв, удавалось хоть сколько-нибудь поддерживать сношения с провинцией и другими странами. Они были крайне нерегулярны, так как во многих пунктах радиотелеграфные станции были разрушены или плохо функционировали. Но тем не менее существовала хоть какая-нибудь связь с остальным миром. «Подземный Париж», точно так же, как и другие открывшиеся внизу газеты, завел даже постоянные рубрики под громкими названиями «Вести со всего мира», «Во Франций и за границей», «Мировая хроника» и т. п.

Увы! Эти рубрики с каждым днем становились все короче и жиже, так как радио получались урывками, чрезвычайно нерегулярно, часто извращенными до неузнаваемости; многие сообщения носили явно вздорный характер, точно их сочиняли для юмористического отдела, и они только по ошибке попадали в отдел серьезной информации.

Так, в одно утро в «Подземном Париже» черным по белому можно было прочесть такую сенсационную новость: «Китай объявил войну Северо-Американским Соединенным Штатам. Значительные китайские силы захватили в Вашингтоне Белый дом, арсеналы и все правительственные учреждения. Положение чрезвычайно серьезное. Желтая раса, по-видимому, решила окончательно вытеснить белую».

Это радио вызвало сильное волнение, и толпа народа теснилась у входа в редакцию «Подземного Парижа», сгорая от нетерпения узнать подробности великого американо-китайского конфликта. Там и сям слышались оживленные комментарии.

— Да, эти китайцы всех придушат. Еще, того и гляди, на Францию пойдут!

— Ну, теперь-то нам никто не страшен!

— Не вечно же мы будем под землей сидеть!

Любителей политических сенсаций ждало крупное разочарование: не только не получалось подробностей о ходе американо-китайского конфликта, но доходившие из Северной Америки скудные сведения вообще ни словом не упоминали о каких бы то ни было военных столкновениях. Тогда Комитет обороны запросил по радиотелеграфу вашингтонское правительство, в чем дело, и некоторое время спустя выяснилось следующее: китайская миссия, после долгих мытарств, добралась, наконец, до Северной Америки и была принята в Белом доме. Сообщавшее об этом радио было до того извращено, что открывало широкий простор фантазий репортеров, которые раздули его до грандиозного конфликта между белой и желтой расами.

На другой день получено было радио из Петербурга, составленное в следующих выражениях: «Три зоотавра... специальная комиссия... переговоры... опыт удался». Вот как

это сообщение было воспроизведено в «Подземном Париже»: «Из Петербурга пришла сенсационная весть, которая может иметь решающее значение для всего человечества. Если мы верно поняли полученное радио, русским, через посредство специальной комиссии, в которую входят величайшие авторитеты науки, удалось вступить в регулярные переговоры с зоотаврами. По-видимому, переговоры эти обещают дать положительные результаты: по крайней мере, радио сообщает, что “опыт удался”. Отнюдь не беря на себя моральной ответственности за это огромной важности сообщение, мы все же позволяем себе выразить надежду, что оно основано на реальном факте, т. е., что с зоотаврами действительно удалось вступить в переговоры. Славянская раса дала столько доказательств своей гениальности, что мы не удивимся, если именно в холодных степях России будет найдено решение трагической проблемы, которая так властно стала перед всем человечеством. Хочется верить, что и на этот раз подтвердятся знаменательные слова: “Ex oriente lux”»*.

В течение целой недели только и разговоров было, что о России и славянском гении. Толпа восторженно кричала: «Vive la Russie!»

Учитывая настроение улицы, газеты наперебой сочиняли всякого рода сенсационные небылицы. Так, «Новая эра» пустила слух, что ввиду достигнутого соглашения с зоотаврами в России приостановлены работы по сооружению подземных городов и что население вернулось к прежней нормальной жизни. Газеты раскупались нарасхват. Огромная толпа народа направилась на площадь Согласия, ко дворцу правительственных учреждений, и громкими криками требовала немедленного снаряжения специальной делегации в Петербург.

Вечером того же дня редактор «Новой эры» был арестован, а газета его закрыта. На стенах появилось правительственное сообщение, в котором говорилось, что пущенный слух — вздорный, ни на чем не основанный вымысел.

* «Свет с Востока» (лат.).

Настроение улицы сразу резко изменилось. Толпа, ворвавшись в редакцию «Новой эры», подвергла ее жестокому разгрому, причем избила до потери сознания какого-то оказавшегося в ней репортера и совсем уж ни в чем не повинного сторожа.

Газеты стали осторожнее. Они ограничивались воспроизведением получаемых радио, большей частью крайне сбивчивых и непонятых, сопровождая их робкими комментариями. Иностраннный отдел хирел с каждым днем и скоро совсем почти исчез с газетных столбцов. Некоторое время передовики пытались еще писать о «новом курсе британской политики», о «захватных тенденциях Японии», о «желтой опасности», о «борьбе партий в Италии», но сами при этом чувствовали такую неловкость, что скоро сложили оружие.

Внутренняя хроника тоже сильно хромала: доходившие из провинции сведения были слишком уж скудны. Заведенный всеми газетами отдел «Подземная Франция» заполнялся больше предположениями и догадками, чем реальными фактами. Юмористический листок «Зоотавр» в каждом номере пускал шуточные сенсации на злобу дня. «Руанские рыболовы, — сообщал он, — изобрели специальную удочку для ловли зоотавров. За одну только последнюю неделю ими было поймано 9999 этих монстров, которые оказались очень вкусными и удостоились одобрения даже самых требовательных гурманов. Убедительно советуем парижанам не поддаваться на изобретенную добрыми руанцами удочку». В другом номере описывалась титаническая борьба бретонской деревушки Паламбек с зоотаврами, которые, понеся крупные потери, отступили в полном беспорядке на незаготовленные заранее позиции. На следующий день «Зоотавр» в юмористических красках изображал поход тарасконцев на Париж, причем вся Франция содрогалась от топота ног грозных тарасконских полчищ.

Толпа смеялась этим шуткам, но тосковала по серьезной информации: страстно хотелось знать, что делается в провинции и на всем белом свете. Казалось, что там, за пределами Парижа, совершаются великие, решающие со-

бытия. Где-нибудь в Америке, быть может, уже придумали какое-нибудь радикальное средство борьбы с нагрянувшей бедой, без того, чтобы люди зарывались в землю. Быть может, немцы изобрели какое-нибудь новое оружие, против которого не может устоять ни один зоотавр. Быть может, наконец, русские, от которых всего можно ждать, нашли какое-нибудь верное средство борьбы с крылатыми чудовищами.

Но ни американцы, ни немцы, ни русские, ни другие народы почти не подавали признаков жизни. По отрывочным, крайне сбивчивым радио из Европы и других концов земного шара можно было только догадываться, что и там идет лихорадочная работа по устройству подземных убежищ. Весь мир уходил в недра земные, накрывался толстым слоем земли, отделяя себя ею от неба, солнца, безбрежной лазури. Как выразился юмористический листок «Зоотавр», культурный уровень человечества сразу понизился на целые сотни метров.

V.

Несмотря на то, что подземный Париж был уже настолько закончен, что мог вместить все население надземного, землекопные работы в нем продолжались. Часть трудовой армии была демобилизована, но около сотни тысяч человек были удержаны на работе: надо было рыть туннели до ближайших населенных мест, прокладывать по ним рельсовые пути, налаживать телеграфное и телефонное сообщение.

Работы велись одновременно в разных направлениях: на Версаль, Фонтенебло, Блуа, Мо, Шартр.

Первый город, до которого докопались парижане, был Версаль.

Это произошло 24 августа около полудня. Рабочие, находившиеся при землекопных машинах, вдруг услышали какой-то странный шум, который исходил из возвышавшейся

ся перед ними толщи земли. Они жадно стали прислушиваться.

— Там люди! Слышны голоса! — раздались возбужденные, радостные крики.

— Мы докопались до версальцев!

Весть эта с быстротой молнии разнеслась по всему подземному Парижу. Тысячи людей бежали «в Версаль», как говорили в толпе.

— Слыхали? Путь в Версаль свободен! — кричали на бегу парижане.

Трамваи и автобусы брались с бою. Они были до того переполнены, что многим приходилось пробираться пешком, хотя от центра Парижа до того места, откуда услышан был шум, было добрых пятнадцать километров.

Пока толпа туда добралась, последний слой земли, отделявший парижан от версальцев, уже был прорыт, и они тысячами хлынули в образовавшийся проход. Обе стороны выражали бурную радость, обменивались рукопожатиями и приветственными возгласами. Женщины целовались и плакали от умиления, как если бы близкие им люди вдруг вышли из могил на свет Божий.

Расспросам конца не было.

Версальцы сообщили, что они, с своей стороны, прокопались уже с юга до Шартра и с севера до Бове.

— Ура! — кричали в ответ парижане. — Теперь мы сможем разгуливать под землей по целой провинции.

— Еще через какой-нибудь месяц можно будет ездить, не поднимаясь наверх, в Гавр, Марсель, Нанси, куда угодно.

Вечером, во дворце правительственных учреждений, был устроен торжественный прием представителей версальского населения.

Стефен, радостный, сияющий, горячо жал им руки и обратился к ним с приветственной речью.

— Вы, дорогие друзья, первые иногородние братья наши, которых мы на глубине сотен метров приветствуем в нашей новой подземной обители! — взволнованным голосом говорил он с бокалом в руке, обращаясь к гостям. — Здесь, в недрах земных, которые еще никогда, от самого

сотворения мира, не видали человека, мы братски протягиваем вам руки и зовем на дальнейшую совместную работу с враждебными силами. Сегодня мы, неустанно долбя грудь земли, пробились к вам, потом расчистим себе дорогу к другим нашим братьям. Везде кипит работа. Везде люди, как кроты, роют землю, чтобы соединиться со своими согражданами, и недалек уж день, когда Франция, наша великая Франция, будет и под землей, как она была еще недавно на земле, единой, тесно спаянной, связанной великой задачей возрождения и сохранения нашей тысячелетней культуры. Не сегодня-завтра мы сможем так же или почти так же свободно передвигаться по всей Франции под землей, как мы это делали до появления зоотавров. А потом, мало-помалу, нам удастся завязать подземные сношения и с другими государствами. Конечно, это потребует еще долгих и тяжких усилий, но тем слаще будет торжество, тем радостнее победа!

Стефен высоко поднял свой бокал и торжественно закончил:

— Граждане! Пью за нашу великую Францию, великую на земле и под землей. Пью за ее славную тысячелетнюю культуру, которой не страшны никакие зоотавры! Пью за Париж и Версаль, за все города и веси нашей родины!

Когда утихла буря восторгов, вызванная речью президента, поднялся с бокалом в руке мэр Версаля, известный депутат Этьен Перрье, красивый старик с лицом патриарха, обрамленным густой седой шевелюрой и длинной белой, как лунь, бородой:

— Дорогой президент! Дорогие парижане! — сказал он. — Париж не раз вызывал нарекания. Провинция обвиняла его в гордости, властолюбии и прочих грехах. Но он все же всегда был, есть и останется мозгом Франции. От него исходят все великие проекты, все благородные начинания. Он и на этот раз, в переживаемые тяжкие дни, указал Франции и всему человечеству путь спасения. Я пью за великий, вечно юный, вечно дерзающий Париж! Да останется он и под землей неугасимым светочем, озаряющим путь Франции и всему миру!

Празднество затянулось до поздней ночи. Кафе и таверны были переполнены оживленными группами парижан и версальцев, причем первые так вошли в роль гостеприимных хозяев, что и сами они и их гости часто пошатывались и не всегда ясно могли выражать свои мысли.

Какой-то основательно подвыпивший парижанин шел по улице не совсем твердыми шагами, обняв одной рукой за шею своего гостя версальца, а другой энергично размахивая в воздухе.

— Да, брат, вот тебе и подземный Париж! — бормотал он. — Жили-жили на земле — и вдруг сквозь землю провалились! Штука, брат! Эвона какие домища воздвигли! Дворцы! Тут тебе и театр, и магазины, и фабрики, и трамваи, а как-то не того... Душа не лежит... Главное, неба нет и солнца... Какое это солнце! Так, подделка одна...

Он вдруг поднял угрожающе сжатый кулак к искусственному солнцу, обливавшему ярким, ровным светом весь город, и гневно закричал:

— У, дьявол круглорожий! Эй, кто там! Туши его, проклятое! Видеть его не могу!

Он долго еще сердито бормотал что-то, а искусственное солнце продолжало бесстрастно лить свой холодный, негреющий свет на безукоризненно прямые улицы подземного Парижа и на обступающие их с обеих сторон каменные громады. Хмурые, угрюмые стояли дома, как бы обвешанные тяжелой, серой скукой, и казалось, что они тоже тоскуют по солнцу, живому, настоящему неподдельному солнцу, вечно меняющемуся, умеющему смеяться и хмуриться.

VI.

К концу октября подземный Париж был уже связан, широкими и высокими туннелями, с самыми далекими окраинами Франции.

Эти туннели казались щупальцами, которые гордая, властолюбивая столица протягивала во все стороны, подчи-

няя своей власти провинцию. Всюду проникали эти щупальца. Через подземные города и деревни тянулись они все дальше и дальше, доходили до границ, упирались в море. По ним шли в провинцию декреты, распоряжения, указания: Париж как бы спешил наверстать то, что он упустил в те два-три месяца, когда власть над страной фактически ускользнула от него.

И провинция, как конь, сбросивший с себя на время седока, но потом опять почувствовавший крепко натянутую привычной рукой узду, снова признала власть Парижа. А когда некоторые города, преимущественно на юге и в Бретани, возмечтавшие было о полной независимости от центра, проявили дух непокорства, по щупальцам-туннелям полетели к ним такие властные окрики и угрозы, что они тотчас же смирились.

Париж с каждым днем все более входил в свою, на время оставленную было, роль властелина Франции. Разладившийся было гигантский административный аппарат заработал вовсю, простирая свою власть на самые далекие углы страны, во все вмешивался, на все накладывал свою печать. Многие старые чиновники смещались и на их место присылались из Парижа новые.

В туннелях, через подземные города и деревни, спешно заканчивалось проведение рельсовых путей, по которым во всех направлениях забегали жироскопы. Десятки тысяч километров телеграфной проволоки связывали, точно чрезвычайно чувствительной нервной системой, всю страну и центральными узлами сходились к подземному Парижу. Пассажирские аэробусы совершали правильные рейсы между столицей и Гавром, Лиллем, Лионом, Марселем, Брестом и другими пунктами Франции. Сотни, тысячи аэромоторов-лилипотов, точно птицы, шныряли под бетонными сводами подземных городов и деревень. Прорытый в Париже канал удлинялся с каждым днем, встречался с каналами ближайших городов, оттуда проводился дальше; в скором времени широкие водные пути прорезали всю страну, и по ним, в разных направлениях, забегали пароходы, барки, лодки.

— Недостает только подводных дредноутов! — шутили парижане.

В первое время движение по жироскопам, аэробусам и пароходам было так велико, что часто приходилось по несколько дней ждать очереди, прежде чем получить место. Никогда еще французы не проявляли такой страсти к путешествиям: более полугода, с самого появления зоотавров, они были прикованы к месту и только в очень редких случаях им представлялась возможность выходить за пределы своего города или деревни. Теперь так заманчиво казалось проехаться по новой, подземной, еще не виданной Франции, взглянуть, как устроились под землей другие города, посмотреть рельсовые и водные пути!

Наплыв пассажиров был так велик, что не хватало подвижного состава и приходилось спешно строить новые вагоны, аэробусы и пароходы. Правительство увидело себя вынужденным декретировать, чтобы рабочим всех государственных, муниципальных и частных предприятий были разрешаемы, по очереди, двухнедельные отпуска, чтобы дать им возможность поездить по стране.

В течение некоторого времени население Парижа, почти поголовно, перебывало в наиболее крупных центрах Франции. Провинция, в свою очередь, тоже не оставалась в долгу. Жироскопы, аэробусы и пароходы то и дело высаживали в Париже тысячи обывателей Лиона, Марселя, Гавра, Нанта, Бреста, Гренобля, Тулузы. С жадным любопытством растекались они по улицам подземной столицы, ахали, удивлялись, восторгались. Сияющие гордостью парижане охотно брали на себя роль чичероне, наперебой хвастали перед ними своими площадями и дворцами, инсценировали для них ночное небо с луной и звездами.

Париж тем сильнее привлекал провинциалов, что здесь, больше чем когда-либо, были теперь сосредоточены лучшие артистические силы страны: большинство крупных артистов из провинции, едва только открылось железнодорожное, воздушное и водное сообщение, бежали в столицу, тем более, что во многих подземных городах, даже крупных, театры еще не были построены.

Впрочем, скоро было приступлено к проведению фоноскопической сети, которая из Парижа расходилась по всей Франции, так что зрители далекой от Парижа Бретани или Савойи получали возможность, сидя у своих родных очагов, прекрасно видеть и слышать все, что происходит на сцене столичного театра. По фоноскопу же передавались во все углы Франции парламентские речи, проповеди, производимые в парижском Соборе Богоматери лучшими проповедниками, лекции знаменитых профессоров.

Подземный Париж, еще в гораздо большей степени, чем надземный, отвлекал от провинции лучшие силы, высасывал ее кровь и соки, жадно впитывал в себя все, что было в стране яркого, талантливого, гениального, незаурядного. Он властно, деспотически навязывал всей стране свою духовную гегемонию, держал ее в интеллектуальном рабстве, ставил ее в постоянную зависимость от себя. Париж становился всем, провинция почти ничем, каким-то придатком столицы, пьедесталом для грандиозного монумента, который он изо дня в день воздвигал самому себе, фоном для его славы.

Некоторые крупные провинциальные центры, которым угрожала опасность захиреть, быть совершенно обескровленными, делали отчаянные попытки борьбы против этого всепоглощающего, всеобъемлющего централизма.

Первым забил тревогу Лион, претендовавший на титул второй столицы Франции. Лионская пресса изо дня в день печатала громовые статьи против тирании Парижа. «Мы не сепаратисты, не федералисты, не анархисты, — писал в одной из статей “Подземный Лион”. — Мы никогда не задавались вздорными тарасконскими мечтами об отделении от нашей общей матери Франции и всегда были далеки от мысли поднять против нее знамя восстания. Единственное, чего мы добиваемся — это права на жизнь, на самостоятельное культурное существование. Лион со своими двумя миллионами жителей, с обширной и богатой провинцией, благословенные поля и виноградники которой кормят пол-Франции, заслужил это право. Мы страдали от тирании Парижа на земле; вступая в новую подземную эру, мы вправе

были наняться, что положение изменится к лучшему; но — увы! — оно стало еще более невыносимым: ревниво охраняя свои прерогативы, Париж как бы спешит доказать, что он твердо решил и под землей удержать свою гегемонию и прибегает к тысячам способов для ее утверждения и укрепления».

Встревожился и Бордо. Он никак не мог забыть, что в 1914 году, в самом начале европейской войны, судьба возвела его, — правда, на очень короткое время, — в ранг столицы Франции; он как бы ощущал еще на своей голове эфемерную корону, которая, по его глубокому убеждению, была ему гораздо более к лицу, чем Парижу, и которая еще сильнее кружила бордосцам голову, чем доброе бордосское вино. И теперь он ворчал, будировал, возмущался. Пресса его метала громы и молнии против диктатуры Парижа и ставила центральному правительству на вид, что оно ведет очень опасную игру. «Пусть там, на верхах, не забывают, — писал “Маленький бордосец”, — что при всей нашей лояльности, наше терпение может истощиться. Мы, разумеется, не вступим на путь тарасконских авантюр, не станем бряцать оружием; но в нашем распоряжении имеется более действительное оружие: бойкот Парижа, полное игнорирование его. Никакие угрозы не могут заставить нас ездить в Париж, смотреть и слушать его артистов, читать его литературу. И если вся провинция, или хотя бы даже часть ее, объявит столице такого рода пассивную войну, парижане от этого вряд ли выиграют».

Лилль, Руан, Марсель и некоторые другие крупные центры тоже пытались вырваться из-под железной ферулы Парижа. По инициативе Лиона стали поговаривать о необходимости объединить силы для совместной борьбы и, прежде всего, созвать съезд для формулирования справедливых требований провинции.

В ожидании решительных, коллективных мер борьбы с духовной гегемонией Парижа, провинция предприняла ряд партизанских действий. Лион построил великолепный театр и усиленно зазывал в него лучших артистов, соблазняя их чрезвычайно высокими гонорарами; он раскинул по всему

югу густую фоноскопическую сеть, чтобы дать возможность всем без исключения южанам, не двигаясь с места, наслаждаться игрой своих артистов, энергично вербовал абонентов, пускал в ход широковещательные рекламы. Лионская пресса зорко стояла на страже интересов родного города и подогревала энтузиазм своих читателей. «Мы должны добиться того, чтобы парижане предпочитали наш театр своему собственному, — писал “Подземный Лион”. — И мы этого добьемся».

Бордо, Лилль, Марсель и все другие уважающие себя города соперничали не только с Парижем, но и с Лионом и между собой. Все строили великолепные театры, грандиозные соборы, импозантные храмы науки; все наперебой приглашали самых знаменитых артистов, проповедников, профессоров, у которых так закружилась голова, что они стали вести себя как владетельные князья доброго старого времени и часами заставляли ждать в своих передних мэров и других нотаблей местных муниципалитетов.

У некоторых из артистов дело дошло до настоящей мании величия, часто принимавшей крайне острые формы: так, известный тенор Франсуа Лягранж, прежде чем подписать ангажемент с дирекцией бордосского театра, поставил следующие условия: 1) ему должна быть отведена роскошно обставленная квартира в городской ратуше, 2) к его квартире должен быть приставлен почетный караул из муниципальных гвардейцев и 3) мэр Бордо должен лично являться к нему перед каждым спектаклем, чтобы отводить его в театр.

— Вы понимаете, это я не для себя! — отрывисто бросал он с изумлением смотревшим на него нотаблям, которым он даже не предложил сесть. — Это для искусства, для святого искусства! Мы, жрецы его, должны поддерживать его престиж перед профанами.

Увы! Бедный Лягранж скоро пал жертвой святого искусства: он попал в сумасшедший дом.

VII.

Уже более полугода Европейские Соединенные Штаты оставались пустым звуком, формулой, лишенной конкретного содержания. Зоотавры разъединили Европу, свели на нет ее с таким трудом налаженный союз. Более или менее регулярные сношения стали невозможны. Каждое государство оказалось предоставленным самому себе, и собственными силами, за собственный страх и риск, боролось с грозной напастью.

Париж не раз запрашивал по радиотелеграфу Лондон, Берлин, Рим, Мадрид, Петербург, Стокгольм и другие столицы Европы о положении дел, но запросы эти либо совсем оставались без ответа, либо ответы были крайне неясны и запутаны.

Приходилось вооружиться терпением и ждать, пока подземные работы достигнут границ Франции.

Уже в середине октября из Страсбурга, по телеграфу Морза, было получено в Париже сообщение о том, что на восточной границе Франции, у Оффенбурга, удалось, наконец, докопаться до немцев.

Стефен и некоторые члены кабинета министров тотчас же полетели, в роскошном, специально отделанном для них азробусе в Страсбург, чтобы лично приветствовать немцев. Там их ждал восторженный прием. Город, наполовину переполненный теперь немцами, был богато декорирован французскими и германскими национальными флагами, украшен цветочными арками и светящимися гербами обоих народов. Из рассказов немцев выяснилось, что подземная Германия почти уже совершенно закончена, причем на восточной границе докопались до Польши и России, а на северной — до Дании и Северного моря.

Несколько дней спустя получены были хорошие вести и из Италии; за Италией настал черед Испании, Швейцарии и Бельгии. Французы с восторгом узнавали, что то в том, то в другом пограничном государстве подземные работы почти совсем уже закончены.

Франция и в частности Париж были охвачены беспредельным энтузиазмом. Радовало, что и в других государствах люди сошли под землю. Радость была тем сильнее, что за последнее время упорно циркулировали слухи, будто за границей отказались от постройки подземных городов и прибегают к каким-то новым способам защиты от зоотавров. Это возбуждало горькие думы.

— Напрасно мы так пороли горячку! — слышались нарекания. — Этак, чего доброго, весь мир по-прежнему наверху останется и только мы одни сами себя в могилу закопали.

Но страхи оказались напрасными, и миллионы французов облегченно вздохнули: на людях и смерть красна!

— Вместе закопались, вместе потом и выбираться будем! — весело говорили они.

И опять стали с бою брать вагоны жироскопов, аэробусы и пароходы. Всякому хотелось поскорее совершить подземное путешествие за границу, посмотреть, как устроились немцы, итальянцы, швейцарцы, испанцы.

Южане направлялись преимущественно в соседние Швейцарию, Италию и Испанию.

Подземная Швейцария им не понравилась. Без своих гор, увенчанных белоснежными, ярко сверкающими на солнце вершинами, без лазурно-синих, величаво-спокойных озер, она стала неузнаваемой. Швейцарцы бродили хмурые и производили впечатление людей, которые что-то потеряли и никак не могут найти. Тяжело ступали они в своих одетых по привычке горных башмаках, которые казались такими ненужными на ровных, словно отполированных мостовых, опираясь на горные палки и сгибаясь так, как если бы они взбирались на крутую гору. Не было уже кокетливых шале и пастушьих хижин с тяжелыми камнями на кровлях; вместо них были серые плоские дома, такие же утрюмые, как и сами швейцарцы, точно и они тосковали по белоснежным горным вершинам, по сверкающим глетчерам и лазурно-синим озерам.

Печально позванивали колокольцами коровы, козы и овцы; они оглашали воздух жалобным блеянием и мыча-

нием и с тоской подымали вверх головы, точно ища так хорошо знакомых, родных горных склонов, покрытых сочной травой. Исхудавшие, со впалыми боками, вяло щипали они выращенную на подземных лугах траву, как если бы это была не настоящая трава, а плохой суррогат, терлись друг о друга мордами, словно ища сочувствия и тоскливо спрашивая, куда это вдруг девались славные горные пастбища. С безмолвным вопросом смотрели они и на подходивших к ним людей, и тогда казалось, что на глазах у них стоят слезы.

Великолепные, словно пронизанные солнцем отели Интерлакена, Шамони, Монтре, Шпица, Люцерна лежали наверху в развалинах, а те, которые взамен их были выстроены под землей, производили, несмотря на внешнюю роскошь, безотрадное впечатление. Им тоже, как и людям и животным, недоставало величавых горных вершин, широких горизонтов, игры солнечных лучей на вечных снегах. Пустынные, угрюмые, тяготясь собственной ненужностью, стояли они в ожидании гостей; но гости были чрезвычайно редки. В первое время, как только открылись сообщения с остальными странами Европы, начался было наплыв иностранцев; но он скоро прекратился. Люди, приезжавшие в Швейцарию с намерением провести здесь недели и месяцы, с первого же дня начинали испытывать тяжелую тоску и возвращались обратно.

Все реже и реже становились приезжие, и скоро швейцарцы совсем перестали их видеть у себя. И остались они одни с самими собой, наедине со своей тоской по солнцу, по белоснежным горным вершинам, которые сливались с облаками, и по лазурно-синим, спокойно-величавым озерам, над которыми с криком носились стаи чаек.

Грустно выглядела и новая, подземная Италия. Без своих обвеянных тысячелетней стариной памятников искусства, этих воплотившихся в камне поэтических саг седой древности, она потеряла то, что веками составляло ее душу, смысл самого ее существования. Царственный Рим, без собора св. Петра, без Колизеума, без величественных порталов и колоннад, на которых, как на скрижалях, была на-

чертана история веков и тысячелетий, казался ограбленным, нагим и нищим. Тщетно жители его пытались воспроизвести под землей хотя бы часть своих величавых памятников старины, тщетно рылись они среди развалин и стаскивали вниз обломки колонн, барельефов, капителей, кариатид: самые опытные зодчие не могли создать из этих обломков ничего, кроме жалких пародий, которые казались насмешливыми гримасами веков над бессилием современного человека.

Мертвым и пустынным, несмотря на свое многолуствие, выглядел Рим, без своего Форума, без залитых солнцем площадей, без живописных групп натурщиков и натурщиц, без наезжавших со всех концов света художников и туристов; жалок был без своего царственного собора Милан, который недавно еще бурлил и клокотал от избытка жизни и энергии; больно было смотреть на Венецию, лишившуюся своих обвеянных мрачной поэзией каналов; Флоренция, Неаполь, Генуя, Турин, с их безукоризненно прямыми проспектами и бульварами, которые ничем не напоминали старые узкие и тесные улочки, обвеянные преданиями веков, казались ничтожными, безвкусно одетыми отпрысками гордых аристократов.

Не слышно было в подземной Италии смеха и песен, которые спокон веков поднимались из ее городов и деревень к лазурному небу. Грустно бродили итальянцы, хирели без солнца, жадно тянулись тоскующими взорами туда, где они привыкли видеть море, свое родное, милое море, под час умевшее грозно хмуриться, но чаще дарившее людей чарующими улыбками, от которых так легко и весело становилось на душе.

— Каково-то выглядит теперь наше море! — с тоской говорили люди, как если бы речь шла о близком существе. — Погода сегодня, должно быть, прекрасная, и оно нежится, смеется под лучами яркого солнца.

— А быть может, — возражали другие, — разыгралась буря, и море злится, рвет и мечет.

— Все может быть! — печально соглашались первые. — Разве тут можем мы знать, что делается наверху? Тут, сла-

ва Богу, нет ни ветров, ни бурь, ни дождей, ни солнца. Всегда хорошая погода!

Люди глубоко вздыхали. Они тосковали не только по солнцу, но и по ветру, по непогодам, по гневным гримасам матери-природы.

Когда докопались до Испании, толпы французов жадно бросились в Сан-Себастьян. Но их ждало горькое разочарование: город, который они знали таким красавцем, который так кокетливо гляделся в синее море своими белыми дворцами, отелями и казино, на набережной которого с утра до поздней ночи бурным ключом была жизнь, был теперь таким серым, плоским, скучным, что у посетителей больно сжималось сердце.

— Вы не ошибаетесь? Это действительно Сан-Себастьян? — спрашивали они испанцев.

— Да, это Сан-Себастьян! — грустно отвечали те. — Мы и сами его не узнаем.

Подземные дороги уже были проложены по главным артериям страны, и французы отправились в Мадрид. Увы! И он был совершенно неузнаваем. Знаменитая площадь, носившая гордое название Врат Солнца и действительно как бы находившаяся у самого преддверия солнечного царства, теперь производила безотрадное, унылое впечатление. Не слышно было не так еще давно стоном стоявшего над ней смеха, и даже мулы и ослы, тащившие по ней тяжелые колымаги, казалось, тоже тосковали по солнцу.

Такое же безотрадное впечатление производили и ближайшие к Мадриду городки, которые всегда служили местами паломничества туристов: Эскориал, над которым недавно еще витал мрачный дух эпохи Филиппа II, Толедо с его тысячелетним собором, которым так гордилась Испания, Аранхуэс с его сказочно прекрасными садами.

— А Севилья? А Гранада с ее Альгамброй? А Кордова с ее мечетью? — спрашивали французы.

Испанцы только безнадежно рукой махали в ответ.

Чтобы хоть чем-нибудь развлечь гостей, мадридцы устроили в их честь бой быков.

Обширный амфитеатр, вмещавший до 15 000 человек, был так переполнен, что казался вымощенным человеческими головами. Но это была не та толпа, которая там, в надземном Мадриде, плотными рядами теснилась, бывало, вокруг арены. Не слышно было шума, смеха, перекрестных острот, не видно было возбужденных лиц, горящих взоров. С тупым равнодушием смотрели люди на арену, да и сами быки, уже не вскармливаемые на тучных, круглый год озадряемых солнцем лугах Андалузии, были безжизненны, тупо-равнодушны. Тщетно пытались разъярить их уколами острых пик, тщетно вонзали им в шею начиненные порохом стрелы, от взрыва которых воздух наполнялся запахом горелого мяса и шерсти, — они оставались флегматичны, как рабочие волы, почти не защищались и вяло умирали под клинками тореадоров.

Когда на банкете, устроенном в честь почетных гостей президентом Испанской республики, знаменитый французский беллетрист Роберт Ляваль провозгласил тост за процветание подземной Испании, из многих грудей вырвался глубокий вздох безнадежной тоски.

VIII.

— А Англия? Что с Англией? — тревожно спрашивали себя французы, немцы, итальянцы.

Действительно, от англичан давно уже не получалось никаких вестей, точно вся Великобритания, вместе с Ирландией, были поглощены морской пучиной.

У северного побережья Франции подземные работы были остановлены приблизительно за километр до моря: боялись, что море хлынет в образовавшийся, в случае дальнейших раскопок, проход, что вызвало бы страшную катастрофу. Таким образом, Англия осталась отрезанной от материка.

Собравшийся около половины ноября в Париже, под председательством Стефена, федеративный Совет Европей-

ских Соединенных Штатов, на котором присутствовали представители всех почти государств Европы, серьезно занялся обсуждением вопроса об Англии.

— Придется снарядить экспедицию для того, чтобы вновь открыть ее, как в свое время открывали Америку или Северный полюс! — говорили делегаты.

Немедленно приступлено было к снаряжению экспедиции.

Дело это было нелегким. Охотников участвовать в ней нашлось немало, даже чересчур много, так что пришлось делать отбор среди добровольцев. Гораздо серьезнее был вопрос о том, как добраться до берегов Англии.

В Гавре, Бресте, Булони, Кале имелись сотни подводных лодок и пароходов и даже несколько подводных дредноутов. На них, почти без риска, можно было бы переправиться через Ла-Манш или Па-де-Кале. Но для того, чтобы добраться до них, необходимо было выбраться на поверхность и дойти до моря.

Отправным пунктом экспедиции намечен был Булонь.

Руководить ею вызвался сам Гаррисон.

Два дня спустя, тотчас же после восхода солнца, он, в сопровождении пятнадцати добровольцев, выбрался из Булони на поверхность.

Надземный Булонь представлял картину чудовищного разрушения. Кругом, куда ни хватал глаз, возвышались развалины. Некоторые из них уже успели порости травой, лопухом и репейником, другие же были, по-видимому, совсем недавнего происхождения.

Гаррисон и его спутники инстинктивно обнажили головы, точно перед могилой дорогого покойника, и в грустном раздумье с минуту оставались неподвижными. Потом они, в глубоком молчании, двинулись вперед.

На одной из площадей они увидели человека, который прятался среди развалин. Это был старик с длинной седой, беспорядочно разросшейся бородой, одетый в какие-то жалкие лохмотья. Заметив приближающихся к нему людей, он бросился бежать.

— Эй, послушайте! — кричал ему вслед Гаррисон. — Зачем вы убегаете? Мы не сделаем вам ничего дурного!

Но тот продолжал бежать и скоро исчез из виду.

— Это, должно быть, какой-нибудь из чудаков, которые предпочли остаться наверху, — сказал один из членов экспедиции, бывший матрос Булонской подводной эскадры. — У нас в Булони таких нашлось около десятка. Большинство, наверное, уже погибли.

Полчаса спустя экспедиция была уже в порту.

Мол, на всем почти протяжении, был разрушен, вместе с доками, товарными складами, сигнальными станциями. Большинство пароходов, барок и лодок были унесены в море или разбиты, и обломки их тут же бились о берег, приносимые морским прибоем вместе с пеной, водорослями и медузами. Только кое-где печально покачивались на волнах привязанные ржавыми цепями пароходы и барки. Все они оказались непригодными, с попорченными машинами.

Наконец, после долгих поисков, членам экспедиции удалось найти не очень пострадавшую подводную лодку.

— Сколько времени потребуется на ее починку? — спросил Гаррисон старшего из механиков, входивших в экспедицию.

— До заката солнца мы вряд ли справимся, — ответил тот. — Манометр и перископ совершенно сломаны, часть аккумуляторов и несколько цистерн тоже нуждаются в серьезном ремонте.

— Следовательно, нам придется провести ночь в Булони, с риском погибнуть от зоотавров?

— Да, или же пуститься в путь сегодня же ночью.

— Это будет не меньший риск: зоотавры обладают дьявольским зрением и в воде, пожалуй, скорей настигнут нас, чем на суше, — сказал Гаррисон.

— Они и днем могут нас открыть под водой, — возразил старший механик.

— Дневная переправа все же менее рискована, — вмешался матрос Булонской подводной эскадры. — Почти все наши подводные суда погибли именно ночью, а те, которые

выходили в море днем, чаще оставались невредимы.

После недолгого совещания решено было переждать ночь в Булони с тем, чтобы утром, чуть забрезжит заря, сесть на подводную лодку и направиться в Соутгемптон.

Весь день все члены экспедиции, включая и Гаррисона, провозились с подводной лодкой, и к вечеру она была совершенно исправлена.

Надо было позаботиться о ночлеге.

Решили разбиться на небольшие группы в два-три человека каждая.

— Таким образом, — мотивировал Гаррисон, — если бы сегодня и налетели на Булонь зоотавры, будет больше шансов, что хоть некоторые из нас уцелеют.

Так и сделали. Как только солнце погрузилось в море, группы разбрелись по городу. Старший механик и два его товарища предпочли провести ночь на подводной лодке.

— Смотрите же, в случае чего, прогоните зоотавров! — пошутил, прощаясь с ними, Гаррисон.

— Будьте спокойны! — в тон ему ответил старший механик. — У меня такой револьвер для них припасен, что им несдобровать. Пусть только сунутся!

Сам Гаррисон, с матросом Булонской подводной эскадры и еще одним уроженцем Булони, портовым служащим, побродив немного по городу или, вернее, среди его развалин, забрался в один почти совершенно разрушенный дом на восточной стороне города. Верхние два этажа обвалились, но нижний еще был обитаем.

— Тут зоотавры уже порядком поработали, — сказал он, — и вряд ли явятся сюда опять с визитом.

Пожинали колбасой и сыром, распили бутылку доброго бургундского вина, побеседовали и легли спать. Гаррисону предлагали единственную имевшуюся в доме кровать, но он решительно отказался и улегся на полу рядом со своими спутниками.

Все трое были так утомлены, что тотчас же уснули сном здоровых, хорошо поработавших людей.

Их разбудил чудовищный треск. Казалось, что потолок рухнет над их головами. Все трое вскочили на ноги.

— Зоотавры! — воскликнул Гаррисон.

Луна ясно светила в полуразбитые окна, и было светло, как днем. Гаррисон посмотрел на часы: было без десяти минут одиннадцать. Он подошел к окну и выглянул наружу.

На высоте, которую он на глазомер определил в два, два с половиной километра, плавно парил зоотавр. Моментами он заслонял луну, и тогда казалось, что на нее нашла огромная черная туча. Зоотавр держался прямо над центром города, значительно левее того дома, в котором приютился Гаррисон со своими спутниками. Потом он вдруг резко повернул на север, в сторону порта и, описав несколько все расширяющихся концентрических кругов, тяжелой глыбой упал вниз.

В то же мгновение послышался страшный гул, который, точно выстрел из гигантского орудия, громовыми раскатами прокатился над всем городом. Стекла в доме задребезжали и весь дом задрожал, точно в смертельном испуге.

— Это зоотавр грохнулся в море, — сказал Гаррисон. — Боюсь, что от нашей подводной лодки одни щепки остались, и что наши товарищи погибли.

Спутники Гаррисона молчали и были бледны как смерть. Портовый служащий заметно дрожал и зябко ежился.

Гаррисон достал бутылку и налил в стакан вина.

— Выпейте, это успокаивает, — сказал он, подавая его портовому служащему.

Ночь прошла тревожно. Никто не сомкнул глаз и с тоской ждал рассвета.

Наконец, забрезжила утренняя заря. Над морем клубился седой туман. Повеяло холодком. Ночь, казалось, спешила использовать последние остававшиеся в ее распоряжении минуты. Но солнце было уже близко, и она все больше бледнела от злобы и страха перед победоносным противником. Скоро невидимая кисть брызнула на небо багрянцем и пурпуром. На морской поверхности заиграли яркие блики, и несколько минут спустя огромным красным шаром показалось холодное еще солнце.

— Пора, идем! — сказал Гаррисон.

Через десять минут все трое были уже в порту и жадно искали глазами подводную лодку.

— Вот она, вот она! — вдруг радостно крикнул матрос. — Целехонька!

Действительно, подводная лодка, цела и невредима, покачивалась на воде. На палубе ее показались старший механик и его товарищи. Они улыбались бледной нервной улыбкой.

Скоро собрались и остальные члены экспедиции.

Псыпались восклицания, расспросы.

— А мы уже были уверены, что вы погибли вместе с подводной лодкой! — сказал Гаррисон.

— На этот раз Бог миловал! — ответил старший механик. — Но пришлось пережить несколько тяжелых минут.

И он рассказал, что когда зоотавр грохнулся в море, в двух приблизительно километрах от их подводной лодки, все кругом заходило и забурлило с такой силой, что все трое упали на палубу; если б они не успели крепко ухватиться за все, что ни попало под руку, их бы непременно снесло в море или расшибло насмерть. Волнение продолжалось добрых десять минут. Когда они пришли немного в себя, они увидели, что море, насколько хватал глаз, ходуном ходило. Кругом носились обломки разбитых барок и лодок, которые сорвало с цепей, завертело точно в гигантской воронке и потом снова, уже разбитыми, выбросило на поверхность.

— Всю ночь, — прибавил рассказчик, — мы с минуту на минуту ждали, что зоотавр вынырнет. Теперь, слава Богу, бояться уже нечего.

— А вдруг он нас подстерегает под водой, по дороге в Соутгамптон? — спросил все еще бледный портовый служащий.

Люди переглянулись: всех тревожила эта мысль, но они не решались высказать ее.

— Пустяки! — сказал Гаррисон. — Станет он в таком болоте засиживаться! Наверное, разгуливает себе где-нибудь в Атлантическом, а то и в Великом океане...

Решено было, не теряя времени, пуститься в путь. Люди энергично взялись за работу, и скоро подводная лодка с экспедицией погрузилась в море.

IX.

Час спустя экспедиция без всяких приключений высадилась в Суутгамптоне. Хорошенький городок лежал в развалинах, без всяких признаков жизни. Уцелевшие дома были крайне редки, да и те среди этого огромного кладбища производили впечатление мертвых.

Гаррисон и его спутники стали бродить по городку, заглядывая в тот или иной из уцелевших домов. Вся почти мебель была вынесена, и они стояли совершенно пустыми; только в некоторых домах все оставалось нетронутым, точно жильцы их только что ушли с тем, чтобы скоро вернуться: по-видимому, они бежали второпях, и им было не до вещей.

После долгих поисков экспедиции удалось наконец найти, километрах в полутора от порта, спуск в подземный город; но он был заперт изнутри массивной железной дверью.

Добрый час бились над ней старший механик и его товарищи.

— Нет, ничего не поделаешь, — сказал он наконец, вытирая пот со лба. — Эту махину и динамитом не взорвешь!

— Не возвращаться же домой с пустыми руками! — возразил Гаррисон. — Придется ждать тут: суутгамптонцы, наверное, выходят время от времени на поверхность.

— Этак можно и месяц прождать! — слышался чей-то недовольный голос.

У спуска учредили дежурство, и члены экспедиции снова разбрелись по городу. Приходилось устраиваться, быть может, надолго. Выбрали один уцелевший дом, нижний этаж которого был обставлен с полным комфортом.

— Отель недурной, только уж придется обходиться без прислуги! — сказал Гаррисон.

— Как бы ночью не явились для услуг зоотавры! — возразил один из его спутников.

Но ночь им не пришлось проводить на поверхности: около полудня прибежал запыхавшийся и сияющий от радости дежурный.

— Англичане! — торжественно провозгласил он.

Действительно, вслед за ним вошли три молодых англичанина, все в кожаных куртках и высоких охотничьих сапогах.

Посыпались приветствия, расспросы. Англичане, флегматично посасывая трубки, рассказали, что все население Соутгэмптона уже третий месяц как поголовно перекочевало под землю, и что только время от времени несколько человек по очереди поднимаются на поверхность для того, чтобы поддерживать, по радиотелеграфу, сношения с остальным миром.

— К сожалению, — прибавил один из них, — наша радиотелеграфная станция уже месяц тому назад была почти совершенно разрушена. Нам удалось ее исправить, но действует она все же плохо.

— Не сможем ли мы вам помочь в этом? — спросил старший механик. — Среди нас есть люди опытные.

Англичане охотно приняли предложение, и все отправились на радиотелеграфную станцию.

Дружно закипела работа, и несколько часов спустя Гаррисон мог уже сообщить по радиотелеграфу в Париж о положении дел. Уже перед самым вечером получился ответ. Отвечал сам Стефен. Он поздравлял экспедицию с успехом и просил передать Соутгэмптону и всей Англии сердечный привет от всего французского народа и лично от него.

— All right! — процедил сквозь зубы один из англичан, не вынимая изо рта трубки, когда Гаррисон прочел вслух полученный им радио. — Этот Стефен — славный малый, и в Англии его очень любят. Надо, чтобы он приехал к нам в гости.

Говоривший достал из кармана своей кожаной куртки плоскую бутылку виски и, держа ее в высоко поднятой руке, провозгласил:

— За здоровье Стефена и Франции!

Потом он спокойно вынул трубку из рта, отпил несколько глотков прямо из горлышка и передал бутылку Гаррисону. Тот последовал его примеру, в свою очередь провозгласил тост за англичан, и бутылка одного за другим обошла всех присутствующих.

Перед самым закатом солнца все спустились в подземный Соутгэмптон.

Французская экспедиция была встречена с большой радостью, которая, впрочем, выражалась в очень сдержанной форме.

— All right! — говорили соутгэмптонцы, крепко пожимая Гаррисону и его спутникам руки.

Некоторые, также очень сдержанно, кричали: «Vive la France!»

Первое, что показали гостям, были прекрасно устроенные площадки для игры в футбол и теннис.

В общем, городок производил унылое впечатление. Небольшие трехэтажные коттеджи, как две капли воды похожие друг на друга, правильными, строгими рядами стояли вдоль вытянутых в линеечку улиц. Площади тоже неприятно резали глаз чрезмерной правильностью линий. Мэрия, церковь, школы и другие общественные здания сильно напоминали рисунки на картинках, прилагаемых к игрушечным кубикам, из которых дети строят дома. Вдоль широкого канала, протекавшего из одного конца города в другой, стояли маленькие пароходики, барки и лодки, которые тоже напоминали эти наивные рисунки.

Сутгэмптонцы выработали в честь гостей длинную программу празднеств: футбол с участием специально выпущенного из Лондона знаменитого Тома Бенсона, который недавно праздновал получение пятидесятого по счету приза; гонки по каналу на старинных безмоторных плоскодонках, приводимых в движение веслами; французская борьба двух атлетов, из которых один приехал из Манчестера; наконец, обед в мэрии и парадный спектакль в городском театре.

Гаррисон, от имени своих товарищей, решительно отклонил любезное приглашение соуэтгамптонцев.

— Мы и без того потеряли немало времени, — мотивировал он свой отказ, — нам необходимо сегодня побывать в Лондоне, чтобы столкнуться по многим важным вопросам с центральным правительством, и завтра же, если возможно, вернуться во Францию, где у нас много дела.

Никакие упрашивания не помогли, и час спустя экспедиция, в сопровождении нескольких местных нотаблей, отправилась на аэробусе в Лондон.

Огромная толпа лондонцев, заранее предупрежденных об их прибытии, встретила их у воздушной станции. Балконы домов были украшены английскими и французскими национальными флагами. Муниципальный оркестр приветствовал гостей сначала французским, а затем отечественным гимном.

Потом лорд-мэр и несколько других нотаблей стали показывать им город.

Улицы и дома мало чем отличались от парижских, так как были построены по тому же плану. С особенной гордостью лондонцы показывали гостям Трафальгарскую площадь, на которой были сгруппированы лучшие здания: парламент, несколько напоминавший по архитектуре Вестминстерский дворец, Британский музей, городская ратуша, университет, собор. Вдоль широкого канала, который население называло Темзой, ключом была жизнь, копошились тысячи грузчиков, матросов, которые жевали табак, сплевывали сквозь зубы и оглашали воздух сердитой бранью.

Выгодно отличало подземный Лондон от подземного Парижа обилие парков, которые почти целиком были пересажены с надземного Лондона.

— Сейчас мы вас поведем в Гайд-парк, — сказал Гарри-сону лорд-мэр. — Вы, конечно, знавали его раньше?

— О, да! И очень его любил.

— Вы увидите, он почти не изменился. Пришлось только, в видах экономии места, сократить несколько его размеры.

Действительно, Гайд-парк мало изменился. Те же монументальные ворота, выходящие на разные концы города, те же широкие, хорошо утрамбованные аллеи с белыми статуями и фонтанами по сторонам, те же проезжие дороги, по которым мчались вагоны жироскопа, автомобили и старинные, запряженные лошадьми, экипажи. Для любителей верховой езды и велосипедистов были проложены особые дорожки. Несмотря на позднюю осень, деревья пышно зеленели, как если бы весна была в полном разгаре.

Там и сям, на ярко-зеленых полянах, виднелись толпы народа, которые слушали ораторов и проповедников.

В одном месте какой-то плотный господин в цилиндре, с лицом провинциального актера или деревенского пастора, стоя на телеге, проповедовал ровным, бесстрастным, но очень громким голосом какую-то новую религию, которую он называл космофией, причем время от времени раздавал слушателям написанную им на эту тему брошюру. На соседней поляне группа женщин и мужчин, принадлежащих к Союзу духовного возрождения, все с голубыми лентами на шляпах, такими же поясами и повязками на рукавах, по очереди становились на служивший им трибуной и в то же время книжным шкапом большой деревянный ящик, и заклинали слушателей вступить в союз; по окончании каждой речи они оглушительно били в барабан, дули в трубы и флейты и, вообще, производили страшную какофонию, в то время как один из них раздавал толпе миниатюрные экземпляры какого-то нового Евангелия. Еще в нескольких сотнях шагов далее, какой-то анархист, забравшись на высокий пенёк, жестоко разносил существующий порядок, причем доставалось всем без исключения политическим партиям, вплоть до социалистической.

— Вы правы: Гайд-парк почти не изменился! — с улыбкой сказал Гаррисон, обращаясь к лорд-мэру. — Да и милые лондонцы остались те же, со своими вечными исканиями какой-то высшей правды, — исканиями большей частью туманными, мистическими, часто сумбурными, но всегда благородными.

— Я думаю, что здесь, под землей, это скоро с них соскочит! — заметил лорд-мэр.

— Почему?

— Потому что здесь нет лондонского тумана, который нас так давит на земле, что мы норовим уйти от него по-дальше. Отсюда наши вечные искания, о которых вы говорите. Отсюда и наш классический сплин, от которого мы, надеюсь, излечимся здесь под землей.

— Я боюсь, что сплин этот перекочет в Италию, — сказал Гаррисон. — Итальянцы так тоскуют по своему солнцу, что совсем носы повесили.

В тот же вечер, после парадного обеда в Городской ратуше, состоялось, в честь экспедиции, торжественное заседание британской строительной комиссии. Председатель ее, Джон Бернс, познакомив гостей в общих чертах с почти законченными уже работами по сооружению подземной Англии, развил намеченный комиссией проект туннеля под Ла-Маншем, между Дувром и Кале.

— Без такого туннеля, — заключил он, — мы будем совершенно отрезаны от Европы. Мы неоднократно пытались столковаться по этому вопросу, по радиотелеграфу, с Францией, но до сих пор это нам не удавалось; вы, поэтому, явились теперь как нельзя более кстати. Прибавлю, что с Ирландией дело у нас уже улажено, и на днях будет приступлено к прорытию туннеля под Ирландским морем.

Обсуждение проекта туннеля под Ла-Маншем затянулось далеко за полночь.

Прощаясь с Гаррисоном у дверей отведенной ему квартиры, Джон Бернс, многозначительно понизив голос, точно боясь вслух формулировать свою мысль, спросил:

— А что вы думаете о туннеле под Атлантическим океаном?

— В Америку?

— Да.

Гаррисон не сразу ответил.

— Эта великая утопия, — сказал он наконец, — давно уже волнует многие благородные умы. Я глубоко верю, что она скоро перейдет в область реальных фактов. Черт возъ-

ми! Я начинаю думать, что будущее человечества не на земле, не на воде и не в воздухе...

— А под землей? — с улыбкой просил Джон Бернс.

— Да, под землей. И да здравствует подземное человечество!

Х.

Когда Гаррисон и его спутники вернулись в Париж, там замечалось некоторое возбуждение. Везде и всюду шли толки о том, что зоотавры совершенно исчезли. Ежедневно выходившие на поверхность радиотелеграфисты уверяли, что за последние дни налеты зоотавров окончательно прекратились.

— Ждешь целую ночь напролет, — рассказывал один из них, — и ничего! Даже скучно становится. Точно они совсем рукой махнули на землю и облюбовали себе какую-нибудь другую планету.

Почти одновременно аналогичные сообщения получены были из Германии, Италии, Испании, Бельгии. Отовсюду доносили, что зоотавры исчезли. Тот, которого видела в Булони экспедиция с Гаррисоном во главе, был, по общему мнению, каким-нибудь отставшим от стада экземпляром.

— Отбился от компании и не может дороги найти! — шутили парижане. — С Земли на Марс или на Сатурн какой-нибудь добраться — тоже штука нелегкая! Это тебе не из Парижа в Версаль проехать!

Вначале дело ограничивалось толками и шутками, но скоро стали поговаривать о том, что можно бы вернуться на землю.

— Пожили тут — и будет! — говорили люди. — Не век же под землей жить! Слава Богу, отвадили зоотавров, а теперь и по домам можно.

Тщетно правительство и более благоразумные элементы населения доказывали, что массовое возвращение на землю в данный момент крайне рискованно и во всяком слу-

чае преждевременно: возбужденная толпа ничего слушать не хотела. Опять выступили на сцену осведомленные люди, которые распространяли слухи, что Комитет обороны и Строительная комиссия, удерживая народ под землей, преследуют какие-то особые, корыстные цели. Газета «Новая эра», которая подслуживалась к улице с не меньшим усердием, чем в дни старой эры, делала даже какие-то таинственные намеки на то, что при свете искусственного солнца гораздо легче обдѣлывать делишки, чем при свете настоящего.

Началось с того, что многие стали добиваться наряда на дежурство при радиотелеграфной станции и, выбравшись в качестве дежурных на поверхность, оставались там. В иные дни ни один из дежурных не возвращался, что крайне неблагоприятно отражалось на сношениях с остальным миром. Те же, которые возвращались, подтверждали, что зоотавров и след простыл.

— Так славно наверху! — говорили они. — Ночью хватило морозцем, и утром все белело кругом от инея.

— Морозец? — взволновано спрашивали парижане. — И иней?

— Да, морозец и иней. Когда идешь по улице, шаги так гулко отдаются по пустынной мостовой. А вчера в полдень дождик пошел. Такой славный частый дождик! Небо низкое, низкое, и все тучами покрыто, — и вдруг сквозь тучи солнышко покажется...

Люди невольно поднимали головы вверх, к тяжелым бетонным сводам, к искусственному солнцу, и глаза их затуманивались глубокой тоской. Они так давно не видали неба, солнца, безбрежных далей! Пусть там, наверху, бушует непогода, нависают низкие, серые тучи и беспрерывно льет дождь или падает снег, — это все же неизмеримо лучше, чем этот негреющий, раздражающе ровный искусственный свет, эта никогда не меняющаяся температура.

— Там, наверху, — грустно говорили парижане, — день сменяется ночью, есть утренние и вечерние зори, один день не похож на другой, все беспрерывно меняется, а здесь... вечно то же и то же! Если не смотреть на часы, не знаешь,

когда день, когда ночь.

С каждым днем росло число желающих покинуть подземный Париж и выбраться на поверхность. Ходили слухи, что кое-где в провинции люди уже вернулись на землю; уверяли, что в Нанте, Лиможе, Метце и некоторых других городах население чуть не поголовно вернулось якобы к оставленным было родным очагам. Наиболее легковверные из парижан бросались в эти города, в надежде, что оттуда им легче будет выбраться к солнцу, к настоящему живому солнцу.

К концу декабря все растущее возбуждение умов вылилось в ряд враждебных правительству манифестаций. Внушительные толпы народа проходили по улицам Парижа и других городов, оглашая воздух крикам: «Долой подземелье! Мы хотим вернуться наверх!» В некоторых местах пришлось пустить в ход военную силу. В Марселе, где манифестирующие толпы состояли преимущественно из бывших матросов, портовых рабочих и рыбаков, которые испытывали острую тоску по морю, дело дошло до кровавого столкновения. С обеих сторон были сотни убитых и раненых.

Впервые под землей пролилась кровь, и это не предвещало ничего хорошего. Люди ходили хмурые, подавленные. Везде ползли зловещие слухи. Тревожные вести из провинции раздувались до фантастических размеров.

В ночь под 1 января возбуждение умов достигло апогея. Было тяжело встречать новый год под тяжелыми бетонными сводами, на глубине сотен метров, которая отделяла людей от зимнего звездного неба, казавшегося теперь таким прекрасным, заманчивым, полным чудес. Жалкими, как плохая подделка, казались искусственная луна и звезды, которые зажжены были в эту ночь в подземном Париже.

Всю почти ночь напролет бродили по улицам и площадям возбужденные толпы народа. Тысячи людей направлялись к площади Согласия. То и дело слышались крики:

— Стефена! Пускай выйдет к нам Стефен!

А когда он показывался на балконе своего дворца и пытался успокоить толпу, голос его тонул в море гневных, угрожающих возгласов.

— Долой правительство! Долой Строительную комиссию! Пусть немедленно откроют выходы на поверхность!

Комитет обороны и Строительная комиссия, собравшись у президента, долго обсуждали, в атмосфере все растущей тревоги, под гул расходившейся толпы, создавшееся положение.

— Это может вылиться в серьезное восстание! — говорил Стефен.

— Которое надо подавить в зародыше! — отвечал министр внутренних дел.

— Что же вы предлагаете?

— Пустить в ход сначала пожарные насосы, а потом, если потребуется, и оружие. История учит нас, что революции возможны только там, где власть проявляет слабость и нерешительность.

Но Стефен и большинство членов совещания не хотели допустить до кровопролития, и после долгих дебатов решено было пойти на компромисс.

Толпе, теснившейся на площади Согласия, было объявлено, что желающим будет предоставлена возможность выбраться на поверхность.

— Граждане! — кричал с балкона во всю силу своих легких Стефен. — Правительство готово идти навстречу вашим желаниям. Утром будет открыты выходы. Но во избежание чрезмерного наплыва народа, который может повести к страшной катастрофе, необходима правильная, хорошо организованная постановка дела. Сегодня же ночью специальная комиссия займется разработкой деталей выхода. В ваших же собственных интересах, в интересах вашего спасения, я, от имени правительства, заклинаю вас не терять хладнокровия.

Гром аплодисментов и ликующих возгласов покрыл последние слова президента.

Полчаса спустя площадь опустела. Толпа, теперь уже радостно возбужденная, торопливо расходилась по домам, чтобы приготовиться к выходу на поверхность.

— Да здравствует наш старый, милый Париж! — весело кричали парижане.

— И солнце! И дождь! И ветер! И тучи! — вторили им другие.

В ту же ночь решение правительства облетело по телеграфу всю Францию, вызвав повсюду бурное ликование.

Мало кто спал в эту ночь во Франции: мысль о том, что скоро можно будет снова видеть небо с настоящим солнцем, настоящей луной и настоящими звездами, охватывать взором широкие, сливающиеся с небесной лазурью дали, вдыхать полной грудью вольный воздух, гнала сон от усталых ресниц.

XI.

В Париже, точно же как и в провинции, только небольшая часть населения воспользовалась возможностью переселиться на поверхность, тем более, что переселение наталкивалось на большие трудности и затягивалось на целые недели: большая часть домов была разрушена, мостовые изуродованы, многие общественные здания пришли в полную негодность, точно так же как и водопровод, электрические станции и другие муниципальные предприятия.

Надо было наново все это налаживать, и работа наверху закипела вовсю.

В начале февраля надземный Париж стал уже более или менее обитаем, но миллионы людей все же предпочитали оставаться пока внизу.

— Подождем немного! — говорили они. — Еще неизвестно, что у них там выйдет. Лучше уж потерпеть здесь.

Обитатели надземного Парижа, спускавшиеся время от времени вниз, имели очень довольный вид и соблазняли оставшихся в подземном городе рассказами о прелестях жизни наверху.

— Как можете вы жить в этом подвале! — восклицали они. — То ли дело у нас наверху! Сегодня с утра так припекало солнышко... Солнце с морозом, — что может быть лучше?

— А зоотавры не беспокоят? — спрашивали их.

— Какие там зоотавры! Мы и думать о них забыли. Увидели, что у нас им пожива плохая, и повернули оглобли. Назад на Марс!

Эти рассказы волновали, будоражили и толкали к переселению наверх все новые элементы.

Вдруг, 20 февраля, ранним утром, в то время, когда сотни парижан собирались выбраться, вместе со своим домашним скорбom, наверх, оттуда стали спускаться платформы, битком набитые растерявшимися, насмерть испуганными обитателями надземного Парижа.

— Зоотавры! — бросали они придушенным от волнения голосом.

— Опять?!

— Да... Мы пережили ужасную ночь... Погибшие насчитываются тысячами... Нагромоздили новые развалины... Отстроенная было Городская ратуша снова разрушена до основания...

И рассказчики и слушатели были бледны и бросали испуганные взгляды вверх, к спускам, как если б они ждали, что вот-вот оттуда ринутся вниз крылатые чудовища. Платформы во всех концах подземного Парижа продолжали спускать сотни и тысячи бледных, испуганных беглецов, таких жалких и пришибленных, точно все они побывали уже в когтях зоотавров.

Напор был так велик, что опять пришлось пустить в ход суровые меры для того, чтобы хоть немного упорядочить возвращение вниз и не допустить до катастрофы. Несмотря на это, все же не обошлось без сотен раздавленных насмерть.

Налеты зоотавров возобновлялись каждую ночь, а так как эвакуация надземного Парижа затянулась на целую неделю, то ежедневно гибли новые тысячи парижан.

Наконец, 28 февраля утром были спущены последние платформы с беглецами.

То же происходило и в остальной Франции. Везде зоотавры произвели страшные опустошения и погубили тысячи человек. И везде объятые паникой люди спасались, точ-

но гонимые фуриями, в подземные убежища.

Настроение было подавленное. Люди ходили как в воду опущенные, с поникшими головами, с потухшими взорами, вздыхали, говорили вполголоса. Церкви круглые сутки были переполнены, и верующие горячо молились в них за упокой души погибших и за собственное спасение от грозной напасти.

Подземный Париж казался облеченным в траур. Погасли смех и шутки, не слышно было громкого говора. Если прежде люди еще верили в лучшие дни, в то, что это только временное убежище и что они скоро смогут снова выбраться на широкий простор, то теперь всякая надежда казалась утраченной навсегда; теперь бетонные своды казались тяжелой крышкой гроба, из-под которой уж никогда не удастся выбраться.

— Кончено! — с безнадежным отчаянием говорили люди. — Тут, под землей, и умирать, видно, придется.

И если им случалось поднимать глаза вверх, в них была смертная тоска, как у людей, заживо похороненных в могиле.

Тщетно пыталось правительство рассеять тяжелую тоску, свинцовой тучей нависшую над подземной столицей; тщетно устраивались частые празднества, и оркестры играли национальные гимны: парижане и на празднествах имели вид людей, сопровождающих погребальную процессию, а бравурные звуки национального гимна слушали с таким выражением, как если б это был похоронный марш.

Работали вяло, словно не видя смысла в работе, раздражались из-за каждого пустяка, предъявляли бессмысленные требования. То в одной, то в другой отрасли вспыхивали, большей частью без всякого серьезного повода, забастовки. Рабочие нередко сами не знали, чего они хотят, и часто, добившись удовлетворения своих требований, придумывали новый предлог для отказа от работы.

— Да объясните же, наконец, толком, чего вы хотите! — возмущенно спрашивали их заведующие работами.

Но рабочие не могли бы объяснить, чего им не доставало. А не доставало им все того же солнца, и неба, и безбреж-

ного простора.

Дни шли за днями, а тоска и упадок энергии все сильнее давали себя чувствовать. Производительность падала, и соответственно с этим росли цены. Ввоз в Париж сокращался с каждым днем, и этот баловень Франции, спокон веков привыкший жить на счет провинции, стал ощущать пустоту в желудке. Бретань почти совсем перестала посылать ему свои молочные изделия, Нормандия — свои фрукты, Пикардия — свой скот, Савойя — свой виноград, Шампань — свой вина: они и сами переживали тяжелый хозяйственный кризис, и им было не до того, чтобы кормить Париж.

Вместе с дороговизной росло и недовольство. Крайние революционные партии поднимали голову. Анархисты открыто вели энергичную пропаганду, исподволь подрывая и без того не особенно прочный существующий порядок. Они бросали в толпу сотни пламенных призывов к беспощадной борьбе против государства и проповедовали утверждение на развалинах его свободных братских общин, в которых каждый был бы сам себе господином и навсегда страхнул бы путы, которыми сковывало его современное общество.

Недовольство перебрасывалось и в провинцию. Во всех углах Франции слышался глухой ропот. Сотни агитаторов разъезжали из конца в конец страны, произнося громовые речи, которые тем легче находили отклик в массе, что положение с каждым днем ухудшалось. Провинция, давно уже будировавшая против столицы, как бы спешила использовать благоприятный момент для решительной борьбы с ее тиранией.

Приказы центрального правительства часто оставались без исполнения. Местная печать усваивала все более воинственный тон. «Подземный Лион» печатал боевые статьи, в которых призывал к насильственному свержению правительства. «Тем хуже для Парижа, — писал он, — если он будет цепляться за эту шайку глупцов и подлецов, которая проявила полную неспособность стать, в такой тяжелый момент, выше своих узкокорыстных интересов. Лион и, надеем-

мся, вся страна, не пойдут в этом случае за Парижем, и он останется одиноким, изолированным. А что такое Париж без Франции? Ничто. Надутое ничтожество, вообразившее, что оно призвано вершить судьбы всей страны и чуть ли не всего мира. Жалкий паразит, который станете корчиться от голода, как только мы вздумаем отказать ему в дальнейших подачках».

Пресса Марселя, Тулузы, Бордо, Лилля, Страсбурга, Ренна, Бреста, Руана и десятка других городов не отставала от лионской и изо в день вела ожесточенную кампанию против Парижа и правительства.

Более благоразумная часть населения понимала, что эти сепаратистские тенденции, чрезвычайно обострившиеся на почве всеобщего недовольства, крайне опасны. Но провинция была так взбудоражена, враждебное отношение к правительству было так сильно, что очень немногие находили в себе мужество идти против течения. Когда марсельская газета «Подземный мир» выступила в защиту правительства и стала призывать к дружной работе на благо всей Франции и к прекращению раздоров, — она чуть не подверглась разгрому толпы и скоро вынуждена была прекратить существование за неимением читателей.

ХII.

Правительство, разумеется, прекрасно понимало всю серьезность положения.

Стефен, еще более осунувшийся и исхудавший, неутомимо бросал страстные призывы к благоразумию. Совершенно не думая о своей личной безопасности, он то и дело появлялся среди толпы, умолял, убеждал, доказывал.

Однажды он, никем не сопровождаемый, неожиданно появился на митинге, организованном союзом местных анархистов. Когда он вошел в переполненный толпой зал, стоявшие у дверей узнали его, и среди них произошло движение. Раздались возгласы:

— Президент! Президент Стефен здесь!

Толпа заволновалась. Стоявшие дальше от входа поднимались на цыпочки и вытягивали шеи, чтобы увидеть президента. Находившийся в это время на трибуне оратор, как человек, хорошо изучивший психологию толпы, понимал, что неожиданное появление здесь Стефена, всегда пользовавшегося большой популярностью, может свести на нет весь эффект его речи. Привычным жестом призвав толпу к вниманию, он воскликнул:

— Граждане! У нас тут появился новый слушатель: глава правительства, президент Стефен, собственной персоной! Я не сомневаюсь, что с целью обезопасить свою особу от возможных не совсем приятных сюрпризов, он позаботился окружить себя целой сворой переодетых шпионов.

— Это неправда! — слышались возмущенные возгласы. — Президент Стефен далеко на трус! Он это неоднократно доказывал.

— Может быть, вы и правы, — продолжал с кислой улыбкой оратор. — Не это важно. Важно то, что глава правительства здесь, на скамье подсудимых, перед судом народной совести...

— Если я подсудимый, — громким, спокойным голосом перебил оратора Стефен, — то я вправе требовать, чтобы меня выслушали.

— Просим! Просим! — слышались крики. — Дать ему слово! На трибуну!

При общем напряженном ожидании, Стефен, пройдя через расступавшуюся перед ним толпу, поднялся на трибуну. Тысячи глаз были жадно устремлены на его высокую, несколько согнувшуюся фигуру.

— Граждане! — заговорил он. — Я пришел сюда, чтобы вместе с вами обсудить положение. Мы переживаем тяжелые дни. Продовольственный кризис с каждым днем все сильнее дает себя чувствовать. Производство в упадке. Почему? Кто в этом виноват? Тут сыплются обвинения против правительства, но в чем его вина? Не может же оно на собственных плечах привозить недостающие нам продукты из провинции. Не может же оно собственными силами пус-

тить в ход парализованные непрерывными забастовками фабрики и заводы. Нет, граждане, напрасно взваливают на нас всю ответственность за создавшееся положение. Люди просто изнервничались, тоскуют по солнцу, по прежней жизни, опускают руки, — вот где корень зла. Дело тут не в злой воле правительства: оно неоднократно доказывало свою полную готовность идти навстречу желаниям народа; оно не остановилось перед почти полной конфискацией крупных капиталов и национализацией частных предприятий. Недаром его так ненавидит «Союз друзей порядка».

— Это верно! — раздались крики. — Этих господ здорово пощипали!

— Правительство готово на проведение в жизнь самых широких, самых радикальных реформ, — продолжал Стефен.

— Прежде всего, оно должно упразднить само себя! — послышался голос.

— Мы и на это согласны, — спокойно ответил Стефен. — Поверьте, что наш путь тоже не усыпан розами, и мы охотно уступим место другим. Но, граждане, власть нужна, необходима, особенно в такой тяжелый момент. И она должна опираться на волю народа, на его доверие. Если мы убедимся, что народ нам не доверяет, мы минуты больше не останемся у власти. Даю вам в этом честное слово от своего имени и от имени моих коллег. Больше скажу: мы с радостью уйдем, ибо тяжело вечно быть на скамье подсудимых и служить козлом отпущения за все неудачи. Мы получаем массу угрожающих писем, нас обливают грязью, называют ворами...

— Быть может, не совсем без основания? — послышался из задних рядов насмешливый голос.

По залу пробежал ропот негодования. Толпа, казалось, готова была растерзать того, кто это крикнул.

— Это подлость! — раздавались возмущенные возгласы. — Наш президент не заслужил такого оскорбления! Вон отсюда!

— Успокойтесь, друзья мои! — снова заговорил Стефен. — Если б я вздумал портить себе кровь из-за таких мело-

чей, меня бы давно уже и на свете не было, а если б я собрал все бросаемые в меня, часто из-за угла, камни, я мог бы выстроить себе роскошный палаццо.

Раздался смех. Симпатии слушателей все больше склонялись на сторону Стефена.

— Но будем говорить серьезно, — продолжал он. — Итак, мы готовы уйти, и я первый. Одного только я боюсь: анархии и неизбежно связанной с ней братоубийственной гражданской войны. В Париже, да и во всей Франции, есть немало людей, которые только и ждут случая половить рыбку в мутной воде. Им-то и нужна анархия, и они сознательно толкают к ней народ.

Оратор выпил глоток воды и, повысив голос, воскликнул:

— Граждане! Анархия, гражданская война, страшны на земле, но неизмеримо страшнее они под землей. У меня кровь стынет в жилах при мысли о возможных последствиях кровавой междоусобицы в этих подземельях. Несмотря на все техническое совершенство наших новых подземных обитателей, это все же кротовые норы, и мы в них не больше чем кроты, слепые, лишенные солнечного света кроты. Граждане, если мы не хотим собственной гибели, гибели нашей культуры, будем всеми силами защищать внутренний мир и порядок! Потоки братской крови не улучшат нашего положения и только сделают нас в тысячу раз беднее и несчастнее. Там, где ничего нет, и революция теряет свои права. Я знаю, что существующий у нас порядок очень далек от идеала, что весь наш социальный строй нуждается в радикальном ремонте, и я, от имени правительства, призываю вас к дружной работе в этом направлении. То, чего мы не доделаем здесь, мы довершим там, на земле, куда, я твердо верю, мы рано или поздно все же выберемся. А пока что, пусть нашим лозунгом будет: «Долой анархию! Долой гражданскую войну!»

Раздались бурные аплодисменты, в которые резкой ноткой врезывался время от времени свист и крики: «Долой правительство! Да здравствует революция!»

Когда оратор, который полчаса тому назад вынужден был уступить место Стефену, снова взошел на трибуну и пытался разбить впечатление от его речи, толпа не хотела его слушать.

Часто после этого Стефен запросто появлялся на митингах, брал слово, говорил, убеждал, предостерегал против опасностей гражданской войны. Но положение ухудшалось, продовольственный кризис с каждым днем обострялся, и недовольство росло. Толпа проявляла все большую нервозность и все холоднее встречала на собраниях ораторов, призывавших к благоразумию. На одном митинге Стефена встретили громким свистом и криками: «Долой! Мы заранее знаем, что вы можете нам сказать! Наслушались!» По его адресу сыпались угрозы, оскорбления, и он вынужден был, с тяжелым сердцем, покинуть собрание.

— Господин президент! — сказал ему один последовавший за ним рабочий. — Если вы мне позволите дать вам совет...

— Пожалуйста, мой друг. В чем дело?

— Не ходите больше на собрания. К вам относятся с глубоким уважением, но у вас немало врагов, для которых ваша популярность, как кость в горле...

— Меня могут убить?

— Ни за что нельзя ручаться, господин президент!

— Ну, так что ж? Если безумцы восторжествуют и начнется гражданская война, я предпочитаю умереть, чем быть свидетелем ее ужасов.

И он продолжал появляться, безоружный, без всякой охраны, на самых бурных собраниях, как бы бросая вызов разбушевавшейся стихии.

Недавно открывшийся, после долгого перерыва, парламент бурно реагировал на происходившее в стране. Крайние правые, большей частью принадлежавшие к союзу «Друзей порядка», изо дня в день обрушивались с ожесточенными нападка на правительство. Особенно неистовствовал «стальной король», толстяк Прюно, который не мог простить Стефену оказанного ему, несколько месяцев тому назад, сурового приема.

— Франции теперь нужны люди железной энергии! — кричал он, весь багровея от напряжения, так что его короткая апоплексическая шея, бычачий затылок и лысина сливались в сплошной пузырь, налитый кровью. — Нам нужны люди, которые могли бы провести нас через выпавшие на нашу долю тяжкие испытания...

— А главное, которые не посягали бы на ваши капиталы! — бросил оратору один из депутатов, вызвав этим взрыв смеха на большинстве скамей.

Ходили слухи, что «стальной король» и его единомышленники из союза «Друзей порядка» субсидируют целый ряд анархистских листков и, вообще, не жалеют средств для того, чтобы восстановить народ против правительства.

— Вы ведете опасную игру! — предостерегали их и в парламенте и со столбцов печати. — Если вам удастся вызвать революцию, вы первые же падете ее жертвами.

Но они не унимались и продолжали, в тесном союзе с выплывшими откуда-то темными личностями, подкапываться под правительство.

ХІІІ.

В воскресенье, 15 марта, Париж с раннего утра был взбудоражен приходившими из разных концов Франции телеграфными известиями о вспыхивавших там восстаниях.

На улицах толпились тысячи людей, оживленно комментируя то и дело приходящие телеграммы. Особенно велико было скопление народа перед редакциями «Подземного Парижа», «Новой эры» и некоторых других крупных газет, которые огромными буквами воспроизводили в своих витринах последние известия из провинции. Тысячи глаз жадно следили за появлением новых телеграмм и тысячи голосов читали их вслух по мере их появления.

— В Лионе власть перешла в руки революционеров. Высшие чины администрации и члены муниципалитета частью перебиты или арестованы, частью бежали.

— В Марселе всю ночь шла баррикадная борьба. К утру инсургенты захватили Городскую ратушу, на которой теперь развевается красное знамя.

— В Лилле гарнизон перешел на сторону народа. Революционеры восторжествовали почти без кровопролития.

— На улицах Гавра кипит бой между войсками и инсургентами. Вооруженная толпа овладела общественными складами и подожгла здание префектуры.

— Телеграфное и телефонное сообщение с Бордо прервано. По рассказам бежавших оттуда жителей, положение там крайне серьезно. Возможно, что в настоящий момент город уже в руках восставших.

Около полудня в Париже появились десятки тысяч листов с призывом в свержению правительства и захвату власти. Их наклеивали на стенах домов и столбах, раздавали на улицах и перекрестках, бросали с аэромоторов. Точно буревестники, носились белые листки в воздухе, и было что-то зловещее в том, как они медленно и бесшумно падали на город.

Час спустя Париж задрожал от оглушительного взрыва: во дворец правительственных учреждений, с пролетавшего над ним аэромотора, невидимыми и неведомыми руками брошена была начиненная разрывными газами бомба. Она разворотила всю правую часть дворца и обратила в кровавую кашу несколько десятков находившихся здесь человек, большей частью мелких служащих и случайных посетителей. Перед дворцом образовалась глубокая воронка.

Сила взрыва была так велика, что более или менее серьезно пострадали почти все дома на площади Согласия, а несколько вагонов проходившего в этот момент поблизости городского жироскопа были сброшены с рельс и, точно лошади с перебитыми ногами, беспомощно лежали на земле. Радиусом на добрых полкилометра вокруг во всех домах были выбиты стекла.

Это была первая рана, которую нанесла Парижу начинавшаяся гражданская война. Первая кровь была пролита. За ней просились наружу потоки новой горячей крови, как если бы ей было тесно в жилах и она рвалась на простор.

Взрывы следовали один за другим. Они гремели как удары набата, возвещавшего начало революционного пожара. Зловещими раскатами проносились они над городом, ударяя тысячами молотов по нервам и возбуждая острую, смертельную тревогу. Одни, гонимые страхом, бежали домой, под защиту крепких стен и железных затворов; другие, наоборот, бросались к центральным кварталам города, над которыми уже реял в облаках огня и дыма злорадно торжествующей ангел смерти. Улицы и площади с каждой минутой все больше заливались лавой человеческой, которую как бы выбрасывал какой-то гигантский вулкан, разверзшийся от взрыва.

Фабрики и заводы, словно по данному сигналу, стали, и рабочие возбужденными группами бежали к центру.

— Началось! — слышались то торжествующие, то придушенные страхом голоса.

Там и сям попадались отряды солдат и полицейских, преграждавшие толпе дорогу. Волны человеческого потока бились, как морской прибой о скалы, об эти живые преграды, отскакивали назад, обтекали соседние улицы и все же настойчиво пробивали себе путь вперед.

Около двух часов пополудни Париж был объявлен на осадном положении. В наскоро расклеенном по городу воззвании правительство грозило нарушителям порядка беспощадными репрессиями. Слова воззвания были жесткими и режущими как сталь; чудилось, что за ними таится кровь, которая вот-вот выступит наружу и зальет мостовую.

Немедленно все подступы к центру города были заняты войсками, которые энергично оттесняли толпу к периферии. Вначале и солдаты и толпа сохраняли относительное хладнокровие; но уже гневным блеском сверкали глаза, сурово хмурились брови и сжимались губы; в людях просыпался зверь; жестокий, жаждущий крови, он выпускал когти и готов был каждую минуту сорваться с цепи. Он только выжидал подходящего момента.

И момент этот наступил.

Под бетонными сводами, прямо над площадью Согласия, на которой были сосредоточены главные военные

силы, появился аэромотор. Он медленно и плавно описал несколько кругов, точно облюбовывая позиции, потом на секунду неподвижно застыл в воздухе — и один за другим, почти без перерыва, раздались три оглушительных взрыва: то были бомбы, сброшенные с аэромотора в самую гущу солдат.

С минуту ничего нельзя было разобрать за облаками дыма. Когда дым немного рассеялся, можно было увидеть десятки изуродованных трупов и корчащихся на мостовых раненых, оторванные головы, руки, ноги, окровавленные лохмотья. Уцелевшие солдаты в панике бросились было бежать, и площадь местами опустела; но несколько минут спустя они вернулись. Сотни ружей угрожающе поднялись к сводам; раздался сухой треск ударявшихся в них пуль; но аэромотора уже и след простыл.

Воспользовавшись смятением солдат, толпа в несколько тысяч человек прорвалась через разомкнувшуюся на минуту цепь и залила площадь. На нее-то и обрушился гнев солдат. Не дожидаясь команды офицеров, многие из них открыли по ней почти в упор частую стрельбу. Послышались стоны, проклятья. Толпа снова отхлынула, оставив на мостовой новые трупы и новых раненых; некоторые из раненых пытались подняться на ноги или же уползти подальше от рокового, очерченного огнем круга, но большей частью тотчас же снова падали. Объятые паникой люди спешили укрыться в ближайшие дома и дворы, у которых происходила бешеная давка.

Комитет обороны, пополненный префектом полиции и начальником национальной гвардии, собравшись во дворце Стефена, заседал непрерывно, с самого утра, руководя по телефону действиями военных и полицейских сил. Доходившие до него, по телефону же, сообщения о ходе событий с каждой минутой становились все тревожнее.

Часа в три пополудни пришла весть, что в разных концах Парижа, преимущественно на площадях Республики, Бастилии, на улице св. Антония и на Монмартре, толпа стала строить баррикады, сваливая для этой цели вагоны городского жироскопа, грузовые телеги, нагромождая дос-

ки, телеграфные столбы, вывороченные из мостовой бrikеты и все, что попадало под руку.

— Разрушить эти баррикады во что бы то ни стало! — отдал приказание, от имени Комитета обороны, полицейский префект.

Полчаса спустя большинство баррикад были разметаны с помощью легкой артиллерии, причем погибли сотни их защитников. Инсургенты отступили. Но очень скоро над городом появилось около десятка аэромоторов, которые стали осыпать войска и полицию бомбами. Взрывы следовали за взрывами, производя страшные опустошения в рядах солдат и полицейских. Часть бомб попадала на соседние дома, нанося им глубокие, доходившие до самого фундамента раны. Некоторые дома при этом загорались, и к ужасам взрывов, к стонам и крикам толпы прибавился треск пламени.

— Пустить в ход воздушную эскадру! — приказал по телефону Комитет обороны.

Тотчас же со дворов полицейской префектуры и казармы Национальной гвардии поднялись вверх двадцать приспособленных для боевых целей блиндированных аэромоторов.

Борьба снизу перенесена была вверх, под бетонные своды.

— Спасайтесь! Подальше отсюда! — слышались крики в заметающейся в ужасе толпе.

Люди стали шарахаться во все стороны, бежали изо всех сил, задыхались, давили друг друга. Со смертельным страхом в ничего не видящих глазах, они мчались вперед, думая только о том, чтобы возможно скорей выбраться из этого рокового круга, над которым витала смерть. Но круг был слишком велик, обнимал собой весь подземный Париж, и не было в нем уголка, где люди могли бы чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности.

Тысячи беглецов, достигнув окраины города, мчались дальше, по направлению к Иври, Кламару, Сен-Дени. Другие прятались в погреба и подвальные помещения.

В каких-нибудь четверть часа улицы и площади почти совершенно опустели; только там и сям на мостовой валялись убитые и раненые. Париж вдруг стал безлюдным, мертвым городом, который оглашался только треском пожаров.

Между тем, наверху десятки аэромоторов готовились к решительной схватке. В течение нескольких минут они, как бы по взаимному соглашению, медлили с открытием военных действий. Потом, гулками раскатами отдавшись под сводами, прогремел выстрел. Около одного из аэромоторов вспыхнуло белое облачко, которое, постепенно расплываясь, долго держалось в воздухе. Аэромотор, принадлежавший инсургентам, загорелся, описал, как раненая птица, несколько судорожных, неправильных кругов и камнем полетел вниз. Находившиеся на нем бомбы взрывались одна за другой, и когда он всей своей тяжестью грохнулся на мостовую, он представлял уже сплошной пылающий костер.

Бой разгорался. Минуту спустя, инсургентам удалось обить аэромотор с национальными гвардейцами. Он упал на крышу одного дома, в котором тотчас же вспыхнул пожар.

Все чаще и чаще вспыхивали под бетонными сводами белые дымки, все оглушительнее становился треск, и аэромоторы, один за другим, тяжело падали на мостовую и на крыши домов. Один из них упал в канал и долго плавал на поверхности воды, рядом с бесформенными обломками аппарата и обуглившимися трупами летчиков.

Скоро ясно стало, что победа клонится на сторону правительственной воздушной эскадры: в ней оставалось еще больше дюжины аэромоторов, в то время как в распоряжении инсургентов их было уже не больше полудесятка. Продолжать при таких условиях борьбу было бы явным безумием, и инсургенты стали сдаваться. Один за другим их аэромоторы выбрасывали белый флаг. Конвоируемые неприятельской воздушной эскадрой, они спустились на пустынную теперь площадь Согласия; находившиеся на них летчики были обезоружены и под сильным конвоем отведены в тюрьму.

— Ненадолго! — уверенным, вызывающе насмешливым тоном сказал своим конвоирам один из главных организаторов восстания, механик Альберт Грамон, когда его вели в тюрьму.

XIV.

Грамон не ошибся.

Едва кончился воздушный бой, Комитет обороны получил донесение, что значительная толпа инсургентов, воспользовавшись общим смятением и почти совершенным отсутствием охраны правительственных зданий, захватила находившийся на площади Республики арсенал.

— Необходимо во что бы то ни стало выбить из него инсургентов! — взволнованно кричал в телефон префект полиции.

— Невозможно! — ответил говоривший с ним комендант Парижа. — Толпа успела прекрасно вооружиться и имеет в своем распоряжении пять сильных электрических батарей, которыми можно уничтожить полгорода. Если Комитет обороны настаивает, я поведу войска в наступление, но предупреждаю, что потери с обеих сторон будут огромные и, вернее всего, бесполезные.

Стефен нервно бегал по комнате, то и дело хватаясь в отчаянии за голову.

— Это ужасно, ужасно! — кричал он. — Эти безумцы погубят Париж, погубят всю Францию! Их необходимо укротить, хотя бы ценой страшного кровопролития. Ради Бога, пустите в ход все наличные силы! Нас может спасти только твердость...

Скоро на площади Республики завязался жестокий бой между завладевшими арсеналом инсургентами и правительственными войсками. Электрические волны огромной силы производили страшные опустошения в рядах обоих враждующих лагерей, поражая насмерть тысячи людей. Силы ин-

сургентов пополнялись подкреплениями, непрерывно подходившими с площади Бастилии и с улицы св. Антония.

Через полчаса бой кипел почти на всех главных артериях Парижа.

Один из пущенных инсургентами снарядов попал во дворец Стефена, и над его полуразрушенной крышей показались длинные языки пламени.

— Эти негодяи нас тут живьем сожгут! — воскликнул Гаррисон. — Надо перейти в другое место.

Комитет обороны перешел в один из частных домов на соседней к площади Согласия улице.

В воздухе, совсем низко, над самыми крышами, стояла густая пелена дыма, и дышать становилось все труднее. Треск пламени и рушащихся зданий заглушал шум борьбы, стоны раненых и вопли охваченных паникой людей, которые в поисках безопасного уголка метались из дома в дом, из улицы в улицу, из квартала в квартал.

Получаемые Комитетом обороны сообщения с каждой минутой становились тревожнее, и члены его все больше впадали в отчаяние. Стефен походил на капитана корабля, который, стоя со своими офицерами на капитанском мостике, ясно видит, что корабль осужден на гибель и что спасти его нельзя. Он то и дело подбегал к телефону, брал трубку, но через минуту снова нервно бросал ее, как если б она обдавала его огнем.

Пожары учащались. По счастью, бетон и железо, из которых были построены дома, представляли плохой горючий материал; пожрав все деревянные части и обстановку квартир, огонь, как голодный зверь, жадно лизал длинными красными языками стены, но те не поддавались, и он, бессильно корчась, умирал. Через каких-нибудь полчаса загоравшиеся дома только дымили, словно гигантские, недавно потухшие костры.

Среди этих дымящихся пепелищ все ожесточеннее становилась борьба между правительственными войсками и инсургентами. Отесненные было к окраинам, инсургенты снова скоро прорвались к центру, захватывали дома, укреплялись в них, убийственным огнем осыпали неприятеля,

потом занимали новые дома, и так, шаг за шагом, пробивались все дальше.

Около пяти часов пополудни они заняли площадь Согласия, этот центральный узел подземного Парижа, где находилось большинство правительственных учреждений. Членам заседавшего поблизости Комитета обороны грозила опасность быть перебитыми или попасть в руки неприятеля.

— Надо бежать из Парижа! — кричал префект полиции.

— Куда? — спросил Гаррисон.

— В Версаль, Сен-Клу, Жовизи, куда угодно! Оставаться здесь было бы безумием.

— Значит, все потеряно? — с отчаянием в голосе крикнул Стефен.

— Да, это лавина, которая все затопит. Во всяком случае, здесь мы ничего не сможем сделать и только сами зря погибнем.

Но бежать было не так-то легко: все средства сообщения были парализованы, пути разрушены, рельсы выворочены.

— Необходимо достать аэромотор! — сказал Гаррисон. — И не один, а по меньшей мере два!

— Это легче сказать, чем сделать! — ответил префект. — Вся почти воздушная эскадра, наверное, уже в руках восставших.

— Надо попытаться. Если Комитет против этого ничего не имеет, я отправлюсь на поиски, — заявил Гаррисон.

— Вас убьют, как только вы покажетесь на улице!

— Бог милостив, авось, уцелею! — спокойно ответил Гаррисон.

Он ушел и четверть часа спустя прилетел на аэромоторе. Вслед за ним у самого дома опустился другой аэромотор, у волана которого сидел один из ближайших помощников Гаррисона, инженер Гарнье.

Но в ту минуту, когда члены Комитета обороны собирались уже сесть на аэромотор, город вдруг, без всякого перехода, погрузился в кромешную тьму: каким-то неиз-

вестно с какой стороны пущенным снарядом вдребезги разбило искусственное солнце.

Крик ужаса вырвался из тысяч грудей. Пока было светло, смерть, которая носилась в воздухе, казалась не такой страшной. Была возможность бежать от нее, искать спасения, прятаться. Это был враг видимый, с которым можно было бороться. Но теперь, когда город вдруг захлестнуло потоками черной, непроницаемой тьмы, чудилось, что смерть таится везде и всюду, на каждом шагу, впереди, сзади, коварная, торжествующая, злорадная.

— Электричество! Пусть зажгут электричество! — раздавались со всех сторон полные отчаяния крики.

Но электрическая станция была разрушена снарядами, и город продолжал тонуть в крошечной тьме. Только там и сям, над загоревшимися домами, подымались не успевшие еще потухнуть языки пламени, которые бросали вокруг бледные, дрожащие отсветы. Они освещали зловещим заревом только небольшое пространство, и обступавшая их со всех сторон тьма казалась еще непроницаемее. Люди зажигали карманные электрические фонарики, нащупывая себе с их помощью дорогу. Тысячи огоньков, таких слабых и беспомощных в борьбе с окружающей тьмой, то вспыхивали, то потухали на улицах, площадях и в окнах домов.

— Необходимо во что бы то ни стало исправить электрическую станцию, иначе все погибло! — воскликнул Гаррисон.

И, освещая себе путь своим карманным фонариком, он побежал вверх к телефону.

— Алло! Электрическую станцию! Скорей, ради Бога! Говорит Гаррисон, Кресби Гаррисон... Что? Ничего не видно? Зажгите фонарик.... Дело идет о спасении Парижа!

Только уж минут через десять, в течение которых Гаррисон с ума сходил от нетерпения, ему удалось соединиться с электрической станцией.

— Алло! Кто у телефона? Старший механик? А где директор? Что? Убит? И инженер Каро тоже?.. Да, да... Ну, слушайте: необходимо во что бы то ни стало исправить станцию... Что? Невозможно? Вздор, надо напрячь все силы! Я

требую этого от имени Комитета обороны... Что? В живых осталось только три человека? Тащите первых попавшихся... с револьвером в руках... Я тоже сейчас явлюсь...

Гаррисон бросил телефонную трубку и побежал вниз.

— Кто идет со мной исправлять электрическую станцию? — крикнул он, выбежав на улицу и высоко поднимая над головой свой электрический фонарик.

— Я! Я! Я! И я тоже! — слышались из темноты голоса.

К желающим присоединились почти все члены Комитета обороны. По настоянию Гаррисона, Стефен, министр внутренних дел и префект полиции остались на всякий случай у телефона.

Электрическая станция находилась метрах в трехстах, на улице Риволи. Добровольцы, которых набралось до двух десятков человек, все с зажженными фонариками в руках, медленно, осторожно нащупывая дорогу, шли за Гаррисоном. Эта группа людей, среди которых блуждающими огоньками мелькали фонарики, казалась мистической религиозной сектой, совершающей во тьме ночной какие-то таинства.

Небольшой отряд Гаррисона, то и дело натываясь на тела убитых и обломки зданий, добрался до площади Согласия и собирался уже повернуть на улицу Риволи, как вдруг, совсем низко, что-то зашипело и длинной огненной молнией прорезало воздух; почти в то же мгновение раздался оглушительный треск.

— Снаряд! — крикнул кто-то.

Люди инстинктивно сбились в тесную кучу.

За первым снарядом последовал второй, потом третий, четвертый, пятый. Откуда-то поблизости доносился треск разрушаемых зданий, а когда треск прекратился, явственно слышались стоны раненых.

Один Гаррисон не потерял присутствия духа.

— Вперед! — кричал он. — Необходимо возможно скорей осветить город, иначе он станет для всех нас могилой!

Некоторые в страхе укрылись под воротами ближайших домов, но большинство последовало за Гаррисоном.

На улице Риволи отряд, сильно растаявший, наткнулся на группу людей, которые возились у дверей соседнего дома. Гаррисон направил на них свой фонарик и стал всматриваться. Те немного попятились.

— Что за люди? Что вы тут делаете? — крикнул он.

— А сам ты кто такой, что так командуешь? — спросил один из группы, направляя на Гаррисона свой фонарик. — Э, да это господин Гаррисон собственной персоной! Тот самый, который загнал нас в эту чертову дыру!

Гаррисон, между тем, при свете своего фонарика, присмотрелся к компании. У всех были в руках какие-то узлы; некоторые держали кучу платья. Ясно было, что это грабители, вышедшие, под покровом темноты, на добычу.

— Вы что это? Грабежом вздумали заниматься? — строго спросил Гаррисон.

— А хотя бы и так! — вызывающе ответил тот же голос. — У тебя, что ли, позволения спрашивать?

— Негодяи! — крикнул Гаррисон. — Крутом такой ужас, а вы...

Он не успел кончить. В руках предводителя шайки блеснул револьвер. Но Гаррисон предупредил его: выхватив из кармана свой револьвер, он выстрелил, и тот со стоном упал на землю.

Раздались, один за другим, еще несколько выстрелов. Началась свалка.

Несколько минут спустя, Гаррисон очнулся на земле, чувствуя острую боль в левом плече. Он поднес к нему руку и ощутил кровь. Несмотря на потерю крови, он чувствовал в себе достаточно сил, чтоб подняться на ноги. Нажав пружину своего фонарика, он при свете его разглядел на земле несколько убитых и раненых, которые глухо стонали.

— Есть тут кто живой? — крикнул он.

Отозвались несколько человек. Гаррисон узнал по голосу главного заведующего общественными работами Мореля и двух-трех других добровольцев.

— Что с вами? Вы ранены? — спрашивали Гаррисона.

— Пустяки! — отвечал он. — Вероятно, пуля задела плечо. Идем. Мы и без того потеряли много времени с этими негодями. Наш отряд, по-видимому, сильно растаял?

— Осталось шесть человек.

— Этого достаточно. Только, ради Бога, скорей! В Париже немало людей без совести и чести. Они разграбят весь город. Потом, когда нам удастся осветить его, мы с ними расправимся.

Он наскоро оторвал рукав своей рубашки, обвязал им рану и решительно двинулся вперед.

Маленький отряд все чаще натывался на группы грабителей, которые при свете карманных фонариков взламывали двери и пробирались в дома. Но ему было не до них.

— Скорей! Ради Бога, скорей! — нетерпеливо торопил Гаррисон.

XV.

Целых двадцать часов подземный Париж был окутан черной, непроглядной тьмой. Миллионы сердец сжимались смертной тоской, как если бы над ними, живыми, вдруг захлопнулась крышка гроба.

И все эти долгие часы, каждый из которых казался вечностью, шли грабежи.

Грабительские шайки, в которых преобладали преступники, бежавшие из разрушенных или покинутых стражей тюрем, врываются в дома и забирали все, что могли. Если им оказывали сопротивление, они пускали в ход ножи, револьверы; но это случалось редко. Большей частью жильцы, тесной кучей забившись куда-нибудь в угол, оцепенев от страха, предоставляли грабителям полную свободу действий. Самыми ужасными были минуты, когда грабители направляли на забившихся в угол людей свет своих электрических фонариков, чтобы рассмотреть их лица. Несчастные ежились, закрывали руками глаза, втягивали головы в плечи, как если бы этот узкий сноп направляемого на них

света нес с собою тысячу смертей. Дети захлебывались от плача, но у взрослых большей частью не хватало голоса, и только время от времени из груди их вырывался глухой, подавленный стон.

К переживаемым ужасам прибавлялась полная неизвестность относительно происходившего в городе. Люди не знали, почему он вдруг погрузился в кромешную тьму, что делается на улице или хотя бы в соседних домах. Придущенным шепотом высказывались самые фантастические предположения, продиктованные страхом. Время от времени доносился треск обрушивавшихся поблизости домов, и это наводило на мысль о зоотаврах: уж не пробрались ли они сюда, в подземный Париж?

А когда треск прекращался и наступала тишина, она еще сильнее заставляла сердца сжиматься от страха. Широко раскрытыми глазами смотрели люди в окружающую темноту и прислушивались к мертвой тишине, в которой чудилось что-то коварное, предостерегающее.

Мучительно долго тянулись минуты и часы, наполненные нечеловеческой мукой. Многие поседели за эти роковые часы, другие сошли с ума; некоторые, особенно среди стариков и женщин, умерли от разрыва сердца.

Только лишь на следующий день, около полудня, электрическая станция была исправлена, и в разных концах города вспыхнули электрические фонари и лампы.

Крик радости вырвался из тысяч грудей, как если бы над заживо погребенными людьми поднялась вдруг крышка гроба, и они увидели свет солнца.

Грабители, застигнутые этим неожиданным светом врасплох, бросились врассыпную, теряя по пути часть награбленных вещей. На недавно еще безлюдных улицах и площадях стали появляться военные и полицейские патрули. Раскрывались окна и двери, и тысячи людей, толкаемых острым любопытством, выбегали на улицу, чтобы узнать, что произошло в эту долгую, страшную ночь.

И не успели еще глаза, привыкшие в эту ночь к темноте, освоиться со светом, как снова началась борьба на жизнь и смерть между двумя враждующими лагерями. Инсурген-

ты спешно мобилизовали силы на площади Республики, в предместье св. Антония, на Бастильской площади и в прилегающих улицах. Войска стали занимать ближайшую к площади Согласия часть города.

Несколько минут спустя с обеих сторон открыт был огонь. На смену полной ужасов ночи пришел угрожающий тысячью смертей день.

Гаррисон с товарищами вышел из исправленной электрической станции и направлялся через площадь Согласия к тому дому, где находился Комитет обороны. Он был бледен от потери крови, от бессонной ночи и тяжелой, почти непрерывной многочасовой работы. Лицо его было испачкано машинным маслом, одежда изорвана и висела клочьями. Он стал совершенно неузнаваем, и даже те, которые хорошо знали его в лицо, с первого взгляда принимали его за какого-нибудь оборванца.

Не лучше выглядели и его товарищи.

Снаряды все чаще и чаще прорезывали воздух, шипя, как брошенное в воду раскаленное железо. Вокруг того места, куда они падали, долго дрожали дома, со звоном разбивались стекла и падали листья с деревьев.

— Они не унимаются, эти безумцы! — говорил Гаррисон. — Мало им пережитых уже ужасов!

Каждый раз, как сверху раздавалось шипение снаряда, он и его спутники поднимали головы вверх и следили за направлением его полета. Иногда, когда снаряд грозил упасть поблизости, они перебегали с одной стороны улицы на другую или же бросались в соседние улицы.

Вдруг, когда они были уже в нескольких десятках шагов от того дома, где находился Комитет обороны, на противоположной стороне улицы с оглушительным треском разорвался снаряд. С минуту ничего не было видно за густым облаком дыма, осколков камня и стекла. Когда облако рассеялось, на мостовой, в лужах крови, валялись несколько человек.

Среди них был и Гаррисон. Он был смертельно ранен в голову и правый бок.

Весть об этом с быстротой молнии облетела квартал, а потом и весь город.

— Гаррисон убит! Гаррисон убит! — тревожным шепотом переходило из уста в уста.

Люди со всех сторон сбегались к месту катастрофы.

Прибежал и Стефен. Он бросился к своему другу, наклонился над ним и, с трудом сдерживая подступавшие к горлу рыдания, спросил:

— Что с вами, дорогой друг? Вы ранены?

— Я умираю... — едва слышно простонал Гаррисон. — Передайте парижанам... что я...

Силы изменили ему, и голос оборвался. Он попытался было подняться на локте, но не мог; заметив это, Стефен приподнял его голову.

— Что вы хотели бы передать парижанам? — спросил он, совсем близко наклоняясь над умирающим.

Но глаза Гаррисона уже затянулись пеленой смерти, и на посиневших губах выступила пена. Он испустил глубокий вздох, — вздох прощания с землей, с жизнью, с людьми, со всем, чем он жил и что было ему дорого.

Стефен бережно опустил его голову, как бы боясь причинить ему боль, закрыл ему глаза, потом встал, снял шляпу и медленно перекрестился.

В течение нескольких минут в городе царила глубокая тишина. Казалось, что подземный Париж хочет почтить религиозным молчанием того, кто был его духовным отцом и одним из главных создателей.

Но в дни тревог и смятения живые не любят подолгу останавливаться над телами павших. Скоро снова зашипел в воздухе снаряд, неся с собой смерть, разрушение и животный ужас.

XVI.

Только через два дня прекратилась уличная борьба и наступило затишье.

Подземный Париж походил на поле сражения, над которым долго носилась смерть, злорадно торжествующая, опьяненная кровью, пожиная обильную жатву.

С обеих сторон были тысячи убитых и раненых. С улиц, площадей и полуразрушенных домов спешно убрали трупы. Целая армия механиков и простых рабочих спешно восстанавливала то, что было разрушено в слепой ярости гражданской войны.

Инсургенты были разбиты наголову. Часть бежала за пределы Парижа, другие были арестованы и заключены во временные, импровизированные тюрьмы, так как старые были разрушены.

Похороны жертв гражданской войны были обставлены с грустной торжественностью. Печально отдавался под бетонными сводами звон колоколов собора Парижской Богоматери; глубокой тоской волновали сердца медленные звуки похоронного марша; над толпой колыхались обвязанные черными лентами национальные флаги и покачивались катафалки, которые казались черными таинственными ладьями, плывущими в океан вечности.

Впереди всех, точно адмиральский корабль этой черной эскадры, плыл катафалк с останками Гаррисона, украшенный венками и траурными лентами. Со спокойной уверенностью вел за собой Гаррисон толпу покойников в океан вечности, — с той же спокойной уверенностью, с какой он, недавно еще, указывал ей путь в океане жизни.

На кладбище, перед крематорием, Стефен, после прочувствованной речи в честь всех погибших, посвятил несколько слов памяти своего безвременно павшего друга. Толпа слушала его в религиозном молчании, с обнаженными, низко поникшими головами.

— Граждане!— говорил Стефен. — Из всех понесенных нами тяжких утрат, это самая тяжкая, самая скорбная. Мы навеки прощаемся здесь с великим гражданином, отечеством которого был весь мир. Он умер, но дело его не умрет, пока будет биться хотя бы одно сердце человеческое. Он указал нам путь спасения от грозной опасности и заложил первый камень первого подземного города. Его гению и энергии миллионы людей обязаны спасением от верной смерти. Ярким светочем горело это мужественное, благородное сердце. Честь и слава неутомимому борцу за счастье человечества! Да будет запечатлена память о нем навеки, переходя из рода в род, из поколения в поколение. Золотыми буквами вписал он свое имя в великую книгу Истории, и с почетом и уважением будут произносить это имя даже наши далекие потомки. Да почует он в мире и да будет ему легка земля, на которой он оставил такие глубокие следы своего творчества. Мы, остающиеся в живых, будем, по мере сил, продолжать его дело. Над прахом его мы поклянемся забыть все, что нас разделяло, и дружно, общими силами, возьмемся за работу по восстановлению выбитой из колеи жизни. Это будет лучшим способом чтить память великого друга человечества Кресби Гаррисона.

Тела погибших были преданы огню, и прах их почил в урнах, а живые взялись за дело.

Люди-муравьи с таким же усердием стали отстраивать свой муравейник, с каким вчера только разрушали его. Тысячами копались они в земле, ремонтировали дома, чинили пути, прокладывали вывороченные рельсы. Париж получил тяжкие раны, и их надо было залечить возможно скорее.

Через несколько дней над городом засияло новое искусственное солнце, такое же исправное, бесстрастное и холодное, как и прежнее. Не радовались ему люди, а, наоборот, бросали на него враждебные взгляды, как бы говоря: «Ты опять тут, постылое!»

Жизнь понемногу налаживалась. Фабрики и заводы пошли полным ходом. Была объявлена беспощадная война праздности. Все способные к работе поставлены были к

станкам и машинам. Комитет обороны взял все производство под свой личный контроль; совместно с выборными от рабочих, он устанавливал расценки, регулировал условия труда, следил за правильным распределением прибылей между всеми рабочими и служащими данного предприятия, улаживал возникающие конфликты. Забастовки были запрещены, и те, которые призывали к ним, сурово карались.

— Теперь не время для забастовок! — говорил Стефен, навещая ту или иную мастерскую. — Рабочие являются почти полными хозяевами предприятий, капиталисты оттеснены на задний план и без согласия фабрично-заводских комитетов шагу не могут сделать. При таких условиях забастовки — преступление, и правительство их не потерпит, — по крайней мере, в эти тяжелые дни, когда требуется напряжение всех сил.

Действительно, фабриканты и заводчики были сведены на роль служащих при своих предприятиях. Если тот или иной из них не хотел примириться с новыми порядками, Комитет обороны просто-напросто устранял его и, совместно с фабрично-заводскими комитетами, назначал нового управляющего.

Союз «Друзей порядка» рвал и метал, принимал воинственные резолюции, апеллировал к общественному мнению и с помощью продажной печати вел неустанную кампанию против правительства. В своей ярости господа из Союза дошли до того, что организовали обширный заговор против Комитета обороны, причем первой жертвой был намечен Стефен. По счастью, заговор был своевременно раскрыт, и главные организаторы его, со «стальным королем» Прюно во главе, были арестованы.

Когда Прюно привели в тюрьму, его хватил апоплексический удар, и он к вечеру умер. Союз «Друзей порядка» пытался превратить его похороны в импозантную манифестацию против правительства. «Мы надеемся, — писали субсидируемые им газеты, — что население Парижа явится отдать последний долг человеку, который столько поработал для процветания отечественной промышленности.» Но на-

дежды эти оказались неосновательными: почти никто не явился на похороны, и «стальной король» ушел в вечность, провожаемый только небольшой кучкой соратников.

«Сошел в могилу один из крупнейших и наиболее воинственных представителей капитала, — писал на другой день центральный орган социалистической партии “Подземный рабочий”. — Это один из последних могикан. Капитал вынужден сдавать одну позицию за другой, и недалек день, когда полноправным хозяином жизни станет Труд».

В провинции восстание тоже почти везде было подавлено. Даже те города, в которых восставшим удалось было захватить в свои руки власть, тоже скоро приведены были к покорности. В большинстве случаев дело обходилось без кровавых столкновений, и центральное правительство чаще всего бывало избавлено от посылки в те или иные города войск для восстановления порядка: достаточно было одной угрозы применить силу. Провинция поняла, что Париж, оправившийся от последних потрясений, достаточно силен и что угрозы его не пустой звук.

К тому же, местные восстания почти везде приводили к торжеству подонков общества, совершенно парализовали производство, еще сильнее обостряли продовольственный кризис и вызывали глухое брожение. Обманутый в своих надеждах народ отворачивался от новых властителей, и по старой, долгими годами вкоренившейся привычке, все же обращал взоры к Парижу. Случалось, что та или иная захватившая власть группа вынуждена была уступить место какой-нибудь кучке авантюристов, которая несколько дней спустя, в свою очередь, бежала перед новыми претендентами на власть. Росла анархия, шли повальные грабежи, жизнь делалась невыносимой, и население все сильнее тосковало по твердой власти. При таких условиях, появления в городе небольшого отряда правительственных войск бывало достаточно для восстановления нарушенного порядка.

Только Лион и Лилль долго не сдавались.

В Лионе, который одним из первых поднял знамя восстания, засевшие в Городской ратуше инсургенты, преиму-

щественно из анархистов, располагали довольно крупными силами и категорически отказывались выпускать власть из рук. На все требования центрального правительства они отвечали насмешками или угрозами и деятельно готовились к обороне. Город был превращен в военный лагерь; под страхом расстрела было мобилизовано все способное носить оружие население. С целью помешать прибытию войск из столицы, железнодорожная линия близ Лиона была разрушена на десятки километров.

— Мы их возьмем измором! — говорил в Комитете обороны Стефен, который больше всего боялся пролития крови.

И действительно, в Лионе, который оказался отрезанным от всей остальной подземной Франции, очень скоро стал свирепствовать голод. Недовольство росло, и перед Городской ратушей, где заседала Революционная директория, то и дело происходили враждебные манифестации.

— Хлеба! Дайте нам хлеба! — кричали тысячи голодных.

Правительство, которое не в состоянии накормить народ, раньше или позже всегда обречено на гибель; пустые желудки плохо воспринимают революционные лозунги. И когда отправленная из Парижа дивизия пехоты подошла к Лиону, тысячи лионцев вышли ей навстречу, приветствовали радостными возгласами солдат и вместе с ними энергично стали расчищать путь к городу.

Несколько часов спустя директория бежала, и над Городской ратушей водружен был французский национальный флаг, — тот самый ненавистный инсургентам флаг, который развевался на общественных зданиях Парижа и всей почти остальной Францией.

Несколько труднее далась Парижу победа над Лиллем. Захвативший здесь власть Народный совет опирался на десятки тысяч хорошо вооруженных и дисциплинированных рабочих текстильной промышленности. Войска местного гарнизона тоже с самого начала восстания перешли на сторону инсургентов, которые, таким образом, располагали значительной армией.

Целый день шли на улицах Лилля бои между инсургентами и присланными из столицы войсками. Победил, разумеется, Париж.

XVII.

Подземная Франция зажила серой, будничной жизнью, точно остепенившийся молодой человек, уставший от кутежей и бурных авантюр.

Шли дни за днями, тусклые, безрадостные, без утренних и вечерних зорь, ничем не отличавшиеся от ночей.

Люди приспосаблились к подземному существованию, душили в себе тоску по солнцу, небу и беспредельным лазурным далям и сами становились какими-то серыми, тусклыми, бесцветными, как если бы земля, среди которой они жили, отбрасывала на них свою тень.

Вместе с яркими красками блекли таланты, одна за другой гасли так щедро разбросанные природой среди людей искорки гения, как гаснут настоящие искры, падая на холодные снежные равнины. Казалось, что здесь, под тяжелыми бетонными сводами, среди бурых масс земли, негде развернуться заложенным в человеке силам, и не могут, за недостатком воздуха, разгореться ярким костром искры его гения. Земля все давила, все нивелировала, сглаживала индивидуальные черты.

Поэты неохотно слагали песни, а те, которые выходили из-под их пера, были серы, угрюмы и тяжелы, как нависшие над головой своды. Уже не переливались в них всеми цветами радуги солнечные лучи, лунное сияние, небесная лазурь и белоснежные облака с золотыми краями. Люди читали их с непобедимым чувством скуки и спрашивали себя, зачем их пишут. Ни в ком не будили они гордых порывов, никого не звали в заветные дали, никого не опьяняли сладкими мечтами.

Знаменитый поэт Делянкр, после долгих и тщетных усилий воскресить осаждавшие его некогда прекрасные об-

разы и воплотить их в звучные строфы, в бессильной ярости сломал перо и стал искать забвения в вине. Растрепанный и оборванный, бродил он по улицам города, часто собирал вокруг себя толпы любопытных и пьяным, осипшим голосом, трагически бия себя в грудь, декламировал им свои старые стихи, те, которые он сочинил еще там, наверху.

Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес ... —

торжественно начинал он.

Потом вдруг останавливался, мучительно морщил лоб, ударял в него кулаком, словно желая разбудить уснувшую память, и горестно, со слезами в голосе, восклицал:

— Забыл! Собственные стихи забыл! Боже мой, Боже мой! Понимаете ли вы, друзья мои, какой это ужас? Забыть собственные стихи!... Но погодите, я, быть может, еще вспомню ...

Став в позу и торжественно протянув правую руку, он снова начинал:

Солнце, как огненный бог в колеснице,
Мчится по ясной лазури небес...
...по ясной лазури небес...
небес...

— Нет, не могу вспомнить! А это было так красиво, такие были гордые, звучные строфы... Когда я читал их там, наверху, я сам чувствовал себя лучезарным богом... А все из-за этого подземелья, этих мерзких сводов! Разве можно здесь петь о солнце, о небе? Будьте вы трижды прокляты, гнусные своды, которые скрывают от нас солнце! Я, поэт Делянкр, шлю вам свое великое, вечное проклятие!

Он яростно поднимал над головой судорожно сжатые кулаки, долго грозил им бесстрастным, серым сводам, а потом, когда пароксизм ярости проходил, разражался горькими слезами обиды и бессилия.

Народный певец Барро, тот самый, который сочинил популярную песенку о зоотаврах, всегда веселый и пенящийся, как вино Шампани, из которой он был родом, как-то потускнел, точно в нем иссяк родник веселья, смеха и звонких песен. В тавернах, которые всю жизнь были для него трибуной, эстрадой и вторым домом, он тщетно пытался занимать публику куплетами и каламбурами, которые некогда стяжали ему такую популярность. Теперь у него ничего не выходило, и публика, — та самая, которая там, наверху, покатывалась со смеха, слушая его, — смотрела на него серьезно, без тени улыбки, как если б он говорил о росте заработной платы или товарообмене. И сознавая, что он человек конченный, никому более ненужный, он в смертной тоске пил стакан за стаканом, а опьянев, скандалил и придирался к окружающим.

— Шире дорогу, Барро идет! — кричал он, гордо поднимая лохматую голову, воинственно выпячивая грудь и приподымаясь на цыпочки, чтобы придать хоть немного внушительности своей обидно маленькой фигуре. — Фелисьен Барро, понимаете? Меня называли магом и волшебником, величайшие писатели и артисты приходили в грязные монмартрские кабачки послушать меня и аплодировали мне до того, что у них опухали руки... Когда я, бывало, пою свою «Мими», вся улица, весь квартал, ревел от восторга и подхватывал припев. Да-с, милостивые государи, вы можете думать все, что вам угодно, а я все же Барро, между тем как вы... скажите мне, зачем вы существуете на свете? Прежде вы коптили небо, а теперь коптите эти своды. Карлики, жалкие пигмеи, мелкие, плоские душонки, которые никогда не знавали, что такое вдохновение, гордые порывы... Я вас презираю! Слышите ли? Я, Фелисьен Барро, вас презираю до глубины души, я смотрю на вас сверху вниз как на букашек...

Бедному Барро при его низеньком росте трудно было смотреть на людей сверху вниз, и он еще больше пыжился, еще выше поднимался на цыпочки. Кончалось тем, что хозяин кабачка брал его в охапку и выбрасывал за дверь, в которую несчастный певец потом долго и яростно бил ку-

лаками.

Художники пробовали было по памяти писать солнце, зарю, звездное небо, облака, горы, море; но выходило не то, и они в бешенстве рвали свои полотна.

Знаменитый пейзажист Паскаль Лакруа созвал однажды в свою студию друзей. Они с грустным недоумением смотрели на стоявшие вдоль стен, на мольбертах, пейзажи: это была какая-то безобразная мазня, как если бы кистью художника водила рука пятилетнего ребенка.

— Господа! — торжественно обратился к пришедшим хозяин. — Я вас пригласил сюда на похороны великого художника Паскаля Лакруа. Не надо ни слез, ни цветов, ни надгробных речей: Лакруа сойдет в могилу скромно, без помпы и шума. Но сначала взгляните на эти картины. Не правда ли, шедевры?

Гости смущенно молчали.

— Отчего же вы молчите? — весело настаивал Лакруа. — Посмотрите на этот закат солнца. Или на это спящее под лунным сиянием море. Видели вы когда-нибудь что-либо подобное?

Потом он вдруг схватил со стола длинный нож и стал, одно за другим, полосовать и кромсать свои полотна. Когда от них остались одни лишь безобразные клочья, он в изнеможении опустился на стул и разразился истерическим хохотом.

— Ха-ха-ха! Был Паскаль Лакруа — и нет его! Зоотавры сожрали, ха-ха-ха! Царство ему небесное! Предлагаю почтить память его вставанием.

На другой день газеты сообщили скорбную весть: знаменитый художник Паскаль Лакруа сошел с ума.

С тех пор его часто можно было видеть сидящим где-нибудь на улице перед мольбертом с палитрой в одной руке и кистью в другой. С серьезным, сосредоточенным видом он накладывал на полотно беспорядочные мазки, причем то и дело поднимал глаза к бетонным сводам, как если б он там видел что-то такое, чего никто кроме него видеть не мог. А когда его спрашивали, что он рисует, он отвечал:

— Разве вы не видите? Это солнце. Посмотрите, как вер-

но схвачена пронизанная его лучами лазурь ...

Влюбленные тоже тосковали по солнцу. Не было в их ласках жизнерадостности, и холодом веяло от их речей, в которые они тщетно пытались вложить огонь беззаветной страсти.

— Солнышко мое! — начинал юноша, лаская свою возлюбленную.

Но, подняв глаза вверх, он видел над головой не солнце, а тяжелые, серые своды, и слова любви замирали на устах его.

— Отчего же ты умолк, милый? — спрашивала девушка. — О чем ты задумался?

— Я думаю о том, как хорошо было бы, если б солнце, настоящее солнце, вдруг брызнуло на нас потоками горячего света.

— Да, это было бы такое счастье! — мечтательно отвечала девушка. — Я уж, забыла какое оно... Помнишь, когда мы в последний раз сидели там, наверху, в Люксембургском саду, оно светлыми зайчиками пробегало в древесной листве и так накаляло песок на дорожках, что я сквозь ботинок чувствовала жар его?

Не так уже звонко смеялись дети, и пустынными казались без их гама и шума улицы. Со щек их мало-помалу исчезал румянец, и они становились серыми, точно и на них отбрасывала свою тень земля. Те, которые сошли под землю еще грудными детьми и не помнили солнца, допытывались у матерей, какое оно.

— Разве оно не такое, мамочка, как это вот, что висит наверху?

— Нет, деточка, совсем, совсем другое!

— А какое?

Мать на минуту задумывалась, словно стараясь воскресить в памяти образ настоящего солнца, и грустно отвечала:

— Настоящее солнце, деточка, огромное, огромное! И пышет от него таким жаром, что щеки краснеют, как около ярко горящего камина. И все тянется к нему: и детки, и цветочки, и травка Божия...

— Оно там, наверху? — задумчиво спрашивал ребенок.

— Да, деточка... Высоко, высоко...

И мать горячо прижимала губами к щеке ребенка, как бы надеясь жаром своей ласки заменить ему животворящее тепло дневного светила.

XVIII.

В начале декабря 1988 года были закончены работы по прорытию туннеля под Ла-Маншем, между Кале и Дувром, а первого января состоялось торжественное освящение его.

В Дувре и Кале, в Лондоне и Париже гремела музыка, произносились торжественные речи, провозглашались тосты, развевались богато расшитые национальные флаги, устраивались фейерверки; но несмотря на все старания организаторов праздника, настроение толпы было подавленное. Даже среди парижан, всегда таких веселых и жизнерадостных, не замечалось и тени подъема. В угрюмом молчании, с поникшими головами, слушали они ораторов, как если бы их речи были не гимнами во славу человеческого гения, а надгробными словами над могилой человечества.

Глубокая апатия все сильнее овладевала людьми. Многие совершенно забросили свои обычные занятия и целыми днями бесцельно бродили по улицам или же неподвижно сидели дома, обнаруживая полное безразличие к оружающему. Не могли расшевелить их ни игра лучших артистов, ни горячие проповеди проповедников, ни пламенные призывы политических ораторов. Рабочие подолгу не являлись в мастерские, служащие забрасывали свои конторы, и в общественной жизни мало-помалу наступал застой.

Число душевных больных росло, и психиатрические больницы все больше переполнялись. Это было какое-то массовое помешательство, которое ставило в тупик самых опытных психиатров. Даже при самом тщательном уходе и хорошем питании, больные худели, бледнели, теряли в весе. Они ни на что не жаловались, не выражали никаких же-

ланий и, если б их не заставляли есть, могли проводить целые дни без пищи, как если бы у них атрофировалось само чувство голода. Неподвижные, словно окаменелые, сидели они с утра до ночи на одном и том же месте, устремив взоры в одну точку. Глаза их как бы перестали видеть, а уши слышать: они ничем не реагировали на самый сильный шум и не поднимали головы даже тогда, когда врачи или родные пытались привлечь чем-нибудь их внимание. Казалось, что они еще при жизни переходят мало-помалу в царство теней, которым чуждо и безразлично все происходящее на земле.

Много было легочных больных, которые тысячами гибли в условиях подземного существования, без живительного тепла и света настоящего солнца, без горного и морского воздуха. Пробовали устраивать, вдали от городских центров, санатории с искусственными озерами, парками и сосновыми лесами, но из этого ничего не выходило, и люди со слабыми легкими быстро сгорали.

Смертность доходила до угрожающих размеров, особенно среди детей, большинство которых уже при самом рождении казались отмеченными печатью смерти: такие они были бледные, худосочные, безжизненные.

Самоубийства принимали эпидемический характер. Кончали с собой старые и молодые, подростки, даже дети. Любящие друг друга юноши и девушки, изверившись в возможности счастья под этими тяжелыми сводами, насильственно, по взаимному соглашению, обрывали нить жизни. Случалось, что целые семьи кончали самоубийством.

По улицам то и дело тянулись похоронные процессии. Кладбища разрастались; города мертвых грозили поглотить все почти население живых городов.

Париж истекал кровью. И не один только Париж: смерть косила обильную жатву во всей Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, везде, где люди зарылись под землю. Там же, где они пока еще оставались на поверхности, как например в Китае, на Индостане, в Африке и некоторых местах Южной Америки, они гибли от налетов зоотавров.

Человечество погибало. Попытка его спастись под землей потерпела крушение: недра земли привыкли принимать только мертвых, и с глухой, непримиримой враждебностью встречали живых, которые дерзали нарушить их извечный покой. Как бы составив безмолвный заговор против этих дерзких пришельцев, они душили их своей массой, насылали на них болезни и смерть, отравляли их неведомыми на земле миазмами.

«Прочь отсюда! Здесь тебе не место!» — казалось, говорили они человеку.

И человеку волей-неволей приходилось уходить. Но куда? На земле, на воде, в воздухе, его ждали грозные крылатые враги, жестокие и непреклонные, как слепые силы природы, как смерч, ураган, землетрясение, как сама смерть. Они все еще не покидали землю, и то и дело доходили вести об их опустошительных налетах на те или иные пункты земного шара. В Европе и Северной Америке, где на поверхности никого почти не оставалось, зоотавры показывались сравнительно редко; но не было сомнения, что как только люди вернулись бы на свои старые разоренные пепелища, крылатые чудовища снова обрушатся на них. Это подтверждалось неоднократными печальными опытами: многие, толкаемые отчаянием и безысходной тоской, выбирались на поверхность — и погибали там в когтях зоотавров или под развалинами зданий.

XIX.

В эти-то дни беспросветного ужаса, когда в сердцах погас уже последний луч надежды, произошло событие, которому, несмотря на его кажущуюся незначительность, суждено было иметь огромное влияние на дальнейшие судьбы человечества.

Это было 10 марта 1988 года.

Часы показывали четверть двенадцатого ночи.

Стефен, только что вернувшийся с заседания Комитета обороны, работал в своем кабинете, когда к нему вошел его секретарь.

— Господин президент, — доложил он, — тут настойчиво добивается свидания с вами какой-то человек.

Стефен нахмурился.

— Скажите, что я сейчас не могу его принять. Пусть придет завтра в часы приема.

— Я ему говорил, но он не хочет уходить. Уверяет, что дело чрезвычайно важное, не терпящее отлагательства. Я пытался узнать, в чем оно заключается, но он решительно уклонился от ответа.

— Кто он такой? Быть может, какой-нибудь сумасшедший? Их столько в последнее время приходит со всякими вздорными делами!

— Нет, на сумасшедшего он не похож. Тип кабинетного ученого...

— Как его фамилия?

— Грандидье... Жан Грандидье. Вот его карточка. Я никогда не слышал этого имени.

Стефен повертел в руках карточку, потом вздохнул, усталым жестом провел рукой по глазам и сказал:

— Ничего не поделаешь! Пусть войдет.

Минуту спустя, секретарь ввел в кабинет невзрачного, худого старика с длинными, седыми, ниспадавшими до плеч волосами. Черный, сильно потертый и лоснившийся сюртук, наглухо застегнутый под самым подбородком, придавал ему вид англиканского пастора, а большие круглые очки под густо разросшимися седыми бровями делали его похожим на старого немецкого профессора.

Секретарь ушел.

— Чем могу служить? — спросил Стефен, обменявшись рукопожатием с посетителем и указывая ему на кресло с противоположной стороны письменного стола.

— Очень многим, господин президент! — отвечал Грандидье. — Рискуя сойти за сумасшедшего, я прямо говорю вам: от того, насколько внимательно вы отнесетесь к делу, которое меня к вам привело, будут, быть может, зависеть

дальнейшие судьбы человечества.

Стефен с любопытством посмотрел на сидевшего против него скромного, тщедушного старика. «По-видимому, это действительно сумасшедший, — подумал он. — Во всяком случае, мания величия несомненна».

— Да, господин президент, — продолжал Грандидье, — дело идет о судьбах человечества. Смею вас уверить, что я не маньяк, не мегаломан... Впрочем, вы даже не знаете, с кем имеете дело: я — бывший профессор физики на математическом факультете парижского университета... Зовут меня Жан Грандидье... Не изволили слышать? Ничего удивительного: я уже больше десяти лет в отставке и... держусь несколько в стороне от научных кругов. Написал немало ученых трудов. В частности, моя работа о магнетизме наделала в свое время, лет двадцать тому назад, шума и была переведена на все почти европейские языки.

Стефен, который до того сидел, откинувшись в кресле, выдвинулся всем туловищем вперед.

— Позвольте, я что-то припоминаю, — сказал он. — Что-то такое о влиянии магнитных колебаний на солнечный спектр? Не правда ли? Если не ошибаюсь, эта работа служила предметом горячих толков в британской Академии наук?

— Совершенно верно. Эта Академия удостоила меня премии, которая дала мне возможность значительно расширить мой физический кабинет.

— А французская Академия?

На лице Грандидье появилась грустная улыбка.

— Сначала она высмеяла мою работу, а потом, когда я обратился к британской Академии, не могла мне простить этого и мстила мне полным игнорированием. Об этом вам мог бы кое-что рассказать президент ее, Марсель Дювернуа, и некоторые из старейших его коллег. Но перейдем к делу.

Стефен пододвинул свое кресло вплотную к столу.

— Я вас слушаю с величайшим интересом! — сказал он. — Вы курите? Пожалуйста, вот сигары.

Грандидье неловко взял сигару, неловко и долго возился со спичками, наконец, с помощью Стефена, закурил — и продолжал:

— Дело, которое меня к вам привело, заключается в следующем: я выработал проект борьбы с зоотаврами, который, по моему глубокому убеждению, должен дать положительные результаты. Я твердо верю, что если его удастся провести в жизнь, роковая проблема, которая стоит перед человечеством, будет разрешена. Осуществление его требует больших денежных и технических средств.

— За этим дело не станет! — поспешил вставить Стефен.

— Я не сомневался, что встречу с вашей стороны полную готовность прийти мне на помощь. Поэтому-то я и обратился именно к вам. Конечно, было бы естественно, чтоб я прежде всего попытался заинтересовать своим проектом какое-нибудь компетентное учреждение... например, Академию наук; но при создавшихся между нами отношениях...

— Понимаю. И вы хорошо сделали, что обратились прямо ко мне. Поверьте, я сумею добиться самого внимательного отношения к вашему проекту. Могу я просить вас изложить его в самых общих чертах?

— С величайшим удовольствием. Я захватил с собой все чертежи и выкладки, и если вы позволите...

Грандидье открыл свой портфель и стал было вынимать из него бумаги, но Стефен остановил его жестом руки.

— Нет! нет! Я не хочу слишком утомлять вас: во всех деталях вы изложите свой проект перед Академией наук. Я постараюсь, чтоб она была завтра же созвана на экстренное заседание.. разумеется, если вы ничего против этого не имеете... Пока что, скажите мне в двух словах, в чем сущность вашего проекта.

— Извольте. Я исхожу из положения, что единственным уязвимым органом зоотавра являются его глаза. Ему не страшны ни огнестрельное оружие, ни разрывные газы, ни сжатый воздух, но его можно ослепить, т. е. поставить в такие условия, при которых он терял бы зрение.

— И вы думаете этого достигнуть?..

— С помощью особой системы магнитных волн, которые он должен встретить на пути своего полета. Как вам, без сомнения, известно, за последние годы в области магнетизма достигнуты крупные успехи. Профессор Берлинского университета Карл Шлютке произвел года три тому назад блестящие опыты интенсификации магнитных волн. С помощью чрезвычайно быстрой смены электромагнитных зарядов и разрядов — причем Шлютке пользовался остроумно скомбинированной сетью трансформаторов — получался магнетизм такой силы, что он расщеплял молекулы. Я внимательно следил за этими опытами, проделал их — поскольку это позволяли мои скудные технические средства — в своей лаборатории, и пришел к убеждению, что есть полная возможность устраивать, грубо выражаясь, особогорода магнитные поля, против разрушительной силы которых не может устоять ни одно живое существо.

— Включая и зоотавров? — спросил Стефен, который слушал со все возрастающим вниманием.

— Да! — с глубоким убеждением ответил Грандидье. — Я долго и тщательно изучал строение глаз зоотавра, который разбился о Notre Dame, и мне удалось установить, что радужная оболочка его глаз обладает чрезвычайной чувствительностью по отношению к магнитным лучам, во всяком случае, ничуть не меньшей, чем радужная оболочка глаз всех других живых существ.

— Значит, если я вас верно понял, вы предлагаете бороться с зоотаврами с помощью особых магнитных полей? — спросил Стефен.

— Совершенно верно. И я твердо убежден в успехе. Если мне дана будет возможность провести в жизнь мой проект...

— Я вам за это ручаюсь! — горячо воскликнул Стефен, крепко пожимая руку Грандидье. — Это чрезвычайно интересная, смелая мысль! Сегодня я вас больше не стану спрашивать. Скажите, можем мы располагать вами завтра?

—Я к вашим услугам.

— Хорошо. Я сегодня же столкуюсь с президентом Академии наук, и завтра утром вы потрудитесь изложить ваш проект во всех деталях перед Академией.

Было уже далеко за полночь, когда Грандидье ушел.

Оставшись один, Стефен подошел к телефону.

— Алло! 3457! Квартира президента Академии наук... говорит президент Стефен. Господин Дювернуа уже в постели? Скажите ему, что мне необходимо поговорить с ним по чрезвычайно важному делу.

Минуту спустя Марсель Дювернуа уже был у телефона.

— Ради Бога, простите, *cher maitre*, что я вас потревожил в такой поздний час, — заговорил Стефен. — Вопрос, быть может, идет о спасении человечества.

И он взволнованным голосом изложил ему сущность дела, не называя пока что имени автора проекта.

— Да, проект не лишен оригинальности, — ответил Марсель Дювернуа. — Разумеется, надо подождать отзыва компетентных людей. Я тотчас же созову пленарное заседание Академии... Кстати, кто автор этого проекта?

— Жан Грандидье.

— Бывший профессор физики?

— Совершенно верно.

Если бы Стефен мог в эту минуту видеть своего собеседника, он бы заметил на его пергаментном лице гримасу крайнего недовольства.

— Вы знакомы с ним? — самым невинным тоном спросил Стефен.

— Да... вернее, был знаком... Мы давно уже не встречаемся... Откровенно говоря, это имя меня несколько расхолаживает.

— Почему?

— Я не думаю, чтоб Грандидье мог создать что либо ценное: это совершенно недисциплинированный ум... так сказать, анархист в науке... Я даже полагал бы, что не стоит созывать Академию: пусть он подаст подробную записку, мы ее рассмотрим, и если...

Но Стефен с живостью перебил его:

— Нет, нет! Я убедительно прошу вас, *cher maitre*, завтра же утром созвать пленарное заседание. Вы понимаете, там, где дело идет, быть может, о спасении человечества...

— Ну, знаете... Грандидье в роли спасителя человечества, — это звучит несколько странно... Но, разумеется, если вы на этом настаиваете, я к вашим услугам. В десять часов утра Академия наук будет в сборе.

— Прекрасно. Если вы ничего против этого не имеете, я тоже позволю себе явиться.

— Вы нам окажете большую честь, господин президент.

— Разрешите уже мне заодно привести с собой нескольких членов строительной комиссии и Комитета обороны. Они нам могут быть очень полезны.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас — и до завтра!

XX.

В начале одиннадцатого следующего утра Марсель Дювернуа открыл заседание Академии наук.

В большом строгом зале в два света, за длинными столами, покрытыми синим сукном, сидели сорок «бессмертных», большинство которых недавно только были избраны в Академию для пополнения ее состава после понесенных ею крупных потерь. За отдельным столом, у самой эстрады, сидели Стефен, некоторые члены правительства и строительной комиссии.

На самой эстраде, рядом с сухим высоким Марселем Дювернуа, скромно сидел маленький, тщедушный Жан Грандидье, в своем наглухо застегнутом, старом, лоснящемся от времени сюртуке. Его невзрачная фигурка совершенно терялась в этом высоком зале, и если бы не его седые волосы, можно было бы подумать, что это школьник, сидящий перед суровыми экзаменаторами.

После небольшой, приличествовавшей случаю речи, президент Академии предоставил слово Жану Грандидье.

Тот встал, не торопясь протер свои большие очки, потом взял в руки лежавшую перед ним толстую прошнурованную тетрадь и стал читать по ней ровным, монотонным голосом, настолько слабым, что сидевшие поодаль должны были приставить руку рупором к уху, чтобы расслышать его.

Вначале его слушали не особенно внимательно, даже с некоторой насмешливой недоверчивостью: приглашая коллег на заседание, президент Академии успел настроить большинство их против Грандидье. Слушая его, некоторые из них обменивались чуть заметными ироническими улыбками и, казалось, всецело были заняты рисунками, которые они набрасывали на лежавших перед ними листах бумаги. Но по мере того, как Грандидье развивал перед аудиторией свой проект, иронические улыбки исчезали, глаза все внимательнее устремлялись на оратора, и стулья все ближе придвигались к эстраде. Через каких-нибудь четверть часа Грандидье в такой степени захватил свою аудиторию, что полсотни собравшихся здесь человек слушали его, затаив дыхание и боясь пошевелиться.

В общих чертах, сущность изложенного им проекта заключалась в следующем:

Над Парижем, точно так же, как и над рядом других крупных центров земного шара, на высоте сотни и более метров устраиваются, с помощью особой системы вибраторов, мощные магнитные поля. Это будут как бы невидимые сети для уловления крылатых чудовищ. Чем больше будет занимаемая этими сетями площадь, тем вернее будут попадаться в них зоотавры. Так, над Парижем магнитное поле должно охватывать площадь по меньшей мере в двадцать квадратных километров.

При надлежащей научно-технической постановке дела, названные магнитные поля будут в такой сильной степени насыщены магнетизмом, что попадающие в них зоотавры мгновенно будут ослепляемы, т. е. совершенно парализованы в своих движениях и приведены к полному бессилию. Потеряв способность ориентироваться и искать добычу, они будут обречены на верную гибель. По мере их

набегов на землю, они будут гибнуть один за другим, до тех пор, пока, отдав себе отчет в грозящей им опасности, они совершенно прекратят налеты на нашу планету.

Устройство системы магнитных излучателей потребует огромных рабочих сил и средств. Чтобы напрасно не рисковать людьми, работы придется вести снизу, т. е. с глубины сотен метров. Согласно выработанному автором проекта плану, который он иллюстрировал рядом тщательно сделанных чертежей, надо будет пробить от самих бетонных сводов подземелий до выхода на поверхность семь штолен-колодцев: один в центре и шесть по сторонам, на расстоянии двух или трех километров друг от друга. Колодцы эти, до пятисот метров вышиной и от восьми до десяти метров в диаметре, с солидной, не боящейся сырости обшивкой, должны будут заключать в себе соответствующих размеров железные стержни, обмотанные несколькими рядами толстой медной проволоки. Начинаясь на глубине сотен метров под землей, железные стержни должны будут выступать, приблизительно на 90 метров высоты, и над землей, где они также должны быть обмотаны густыми рядами медной проволоки, которая могла бы служить проводником сильных электрических токов. Эти колоссальные электромагниты, выступающие из недр земли, должны быть заключены в бетонные башни. Для питания их электрическим током придется установить под землей по меньшей мере семь электрических машин соответствующей мощности. Ввиду того, что эти гигантские электромагниты будут развивать огромную тепловую энергию, необходимо будет снабдить их специальными усовершенствованными фригориферами, которые охлаждали бы их и поддерживали бы нормальную температуру в подземных штольнях и надземных башнях.

Устроенные таким образом электромагниты будут испускать магнитные потоки огромного напряжения, которые попеременно будут направляться от шести периферических электромагнитов к центральному и обратно. Таким образом, над городом будет раскинута гигантская невиди-

мая сеть, в которую непременно должны будут попадать зоотавры при своих налетах.

В заключение, Грандидье изложил свои, основанные на тщательном изучении вопроса, соображения относительно потребных для устройства над Парижем магнитных излучателей сил и средств.

— Разумеется, — сказал он — я не претендую на точность и непогрешимость выкладок, которые я сейчас буду иметь честь предложить вашему вниманию: как это всегда бывает, практика может во многом разойтись с теоретическими построениями; но смею думать, что в общем и целом мои выкладки основательны. Вот к чему я пришел: устройство магнитного поля площадью в двадцать квадратных километров, при условии ведения работ из подземного Парижа, потребует месячного срока при пятидесяти тысячах рабочих, двух месяцев при двадцати пяти тысячах рабочих и т. д. Я, впрочем, надеюсь, что число рабочих можно будет значительно сократить, особенно при условии применения, в самом широком масштабе, усовершенствованных электрических буров и землечерпательных машин. Но я предпочитаю брать несколько большие цифры. Так как все мы слишком заинтересованы в возможно скорейшем осуществлении изложенного проекта — разумеется, если только он удостоится вашего одобрения, — остановимся на месячном сроке работ. Итак, понадобится пятьдесят тысяч рабочих; при поденной плате в тридцать франков, т. е. несколько большей, чем выплачиваемая на фабриках и заводах, это составит полтора миллиона франков в день, или сорок пять миллионов в месяц. На жалованье инженерам, техникам, всякие административные расходы и приобретение машин я кладу, круглым счетом, еще десять миллионов франков. Остаются материалы. Я не хочу утомлять вашего внимания малоинтересными цифрами: если мой проект удостоится одобрения, будет по всей вероятности, избрана специальная техническая комиссия, которой я и представлю все сделанные мною вычисления. Пока же скажу только, что для устройства над Парижем системы магнитных излучателей потребуются тысячи тонн железа, меди и дру-

гих материалов общей стоимостью от сорока до сорока пяти миллионов франков. Таким образом, проведение в жизнь моего проекта обойдется приблизительно в 100 миллионов франков.

— Всего лишь! — воскликнул Стефен.

— Да. Это и мало и много, — ответил Грандидье, — смотря по тому, удастся опыт или нет.

И он вдруг совершенно неожиданно умолк. Слушатели ждали, что он закончит свой доклад несколькими горячими словами призыва к энергии, предприимчивости; вместо того этот маленький, тщедушный человек, точно ученик после экзамена, сел и стал спокойно протирать стекла своих очков.

С минуту в зале замечалось легкое смущение. Присутствующие в недоумении переглядывались друг с другом.

— Вы кончили? — спросил Марсель Дювернуа, обращаясь к Грандидье.

— Да. Я, собственно, все сказал. Если что-нибудь неясно, я готов дать дополнительные объяснения.

Дювернуа чуть заметно пожал плечами. Еще с минуту царило неловкое молчание. Потом поднялся со своего места Стефен, с взволнованным лицом подошел к эстраде и крепко, долго пожимал руку Грандидье.

Лед был сломан. Зал огласился дружными аплодисментами. Вслед за Стефеном и другие поднялись со своих мест и шумной толпой окружили Грандидье, совершенно заслонив его маленькую фигурку. Его поздравляли, ему пожимали руку, наперебой говорили что-то, а он, казалось, ничего не понимал и недоумевающе смотрел из-под своих больших очков на окружающих.

— Господа! Прошу занять места: заседание продолжается! — сказал Марсель Дювернуа. — Академия как таковая еще не высказала своего отношения к проекту уважаемого докладчика.

Часа два спустя, Стефен, прощаясь с Грандидье у дверей Академии наук, весь сияя от радости, безжалостно мял в своих больших сильных руках маленькие руки старого профессора и говорил:

— Видите, я был уверен, что ваш проект будет принят! Пришлось немного повоевать, но тем ценнее победа. Теперь у нас дело пойдет! Мы в две-три недели соорудим вам магнитное поле... Ну, идите, идите, не стану вас задерживать, вам надо отдохнуть. А вечером ко мне, на совещание комиссии... Ах, вы не знаете, мой друг, как я счастлив! Точно сразу несколько десятков лет с плеч сбросил. Вы только подумайте... Однако, я разболтался. До свиданья, мой друг, до свиданья! До вечера!

XXI.

В тот же день известие о предстоящем опыте с магнитными полями облетело Париж, потом, по телеграфу, всю Францию, Европу, Северную и Южную Америку и другие пункты земного шара, с которыми возможны были сношения.

Известие это вызвало огромное волнение. Газеты всего мира помещали биографию Жана Грандидье, большей частью совершенно фантастического характера: так, одна из них уверяла, что он чуть не до 30 лет был грузчиком в Марселе; другая утверждала, что его, несколько лет тому назад, подобрали на улице умирающим от голода, причем в кармане его нашли подробное описание какого-то сделанного им замечательного изобретения. На миллионах газетных листов красовалась его фотография. Этот маленький, скромный человечек стал вдруг пользоваться почти такой же популярностью, какая выпала года два тому назад, незадолго до появления зоотавров, на долю знаменитого боксера, англичанина Тома Бредфорда, одно время положительно сводившего с ума миллионы людей на обоих полушариях. Некоторые газеты ухитрились даже поместить фотографию жены Грандидье, хотя он всю жизнь оставался холостяком, а нью-йоркская «Иллюстрированная неделя» пошла еще дальше: она преподнесла читателям трогательную фотогра-

фическую группу из девяти человек с надписью: «Жан Грандидье в кругу своей любимой семьи».

Скромная квартирка его с утра до ночи осаждалась целой армией репортеров, фотографов, агентов синематографических компаний, а то и просто любопытных. Десятки тысяч провинциалов и иностранцев приезжали в Париж с единственной целью взглянуть на «спасителя человечества», как его, с легкой руки «Подземного Парижа», окрестили газеты. Где бы он ни появлялся, куда бы ни шел, всюду следовали за ним толпы народа. По приказу Стефена полиция энергично охраняла покой старого профессора, но победить упорство репортеров, фотографов и т. п. публики было делом далеко не легким.

Едва только заговорили о магнитных полях, настроение у миллионов людей сразу поднялось. Те, которые еще не успели безнадежно заболеть *toedium vitae**, этой ужасной болезнью, которая с каждым днем уносила все больше жертв, поднимали голову и начинали проявлять некоторую жизнерадостность.

— Неужели мы опять увидим небо и солнце? — говорили они с бледной улыбкой, и в их потухших было глазах светилась робкая надежда.

Люди дружно взялись за работу. Когда строительная комиссия открыла, 11-го марта, конторы для найма рабочих, вокруг них происходила страшная давка: всем хотелось попасть на работы, не ради заработка, а просто из желания принять хоть какое-нибудь участие в этом великом деле. Многие профессиональные союзы добивались чести поставить от себя и за собственный счет то или иное количество рабочих. Металлургический трест заявил строительной комиссии, что будет поставлять железо и медь по ценам на 25% ниже рыночных. Банки и акционерные общества жертвовали крупные суммы, так что уже на следующий день, 12-го марта, в распоряжение правительства поступило свыше двадцати пяти миллионов франков. Сотни инженеров

* Отвращение к жизни (*лат.*).

предлагали свои услуги либо совсем бесплатно, либо за очень скромное вознаграждение.

И дело закипело. Никогда еще работа не возбуждала такого энтузиазма, не делалась с таким увлечением. Так могут работать только люди, которых засыпало обвалом где-нибудь в шахте и которые ищут выхода на свет Божий.

В семи пунктах подземного Парижа, которые отстояли на два с лишним километра друг от друга и которые были намечены для проведения колодцев, круглые сутки, в три смены, усердно копошились десятки тысяч рабочих. Они не нуждались в понуканиях, развивали максимум энергии, обнаруживали изумительную неустойчивость.

— Скорей! Скорей! — подхлестывали они друг друга.

Тысячи вагонов подвозили строительные материалы. Все выше и выше становились штабели железных полос, груды свернутых кругов медной проволоки, массы бетона и цемента, которые должны были пойти на сооружение гигантских фундаментов, идущих от сводов до основания подземного Парижа.

Уже 13-го марта приступлено было к закладке этих фундаментов, имевших форму гигантских треножников с обширными бетонными платформами наверху, под самыми сводами, откуда должны были буравиться, через всю толщу земли, отделяющей подземный Париж от надземного, колодцы.

А еще два дня спустя, около шести часов вечера 15-го марта, один из фундаментов, а именно тот, который сооружался на площади Республики, был уже закончен, хотя по самым оптимистическим расчетам строительной комиссии работа эта по меньшей мере должна была продолжаться четыре дня.

— Поздравляю, дорогой друг! — весь сияя от радости, говорил Стефен старому Грандидье. — Если дело и дальше пойдет таким темпом, мы, самое позднее через две недели, раскинем над Парижем магнитное поле. Вы посмотрите только, как эти молодцы работают!

На следующий день были закончены остальные шесть фундаментов, и десятки тысяч рабочих, в семи различных

пунктах Парижа, стали пробиваться вверх с настойчивостью и энергией заживо погребенных, пытающихся приподнять крышку собственного гроба.

С утра до ночи и с ночи до утра, без малейшего перерыва, кипела лихорадочная деятельность. Вокруг места работ носились тучи пыли. Ревели гигантские подъемные краны, без умолку свистали паровозы, низким, густым басом гудели электрические буравы, почти совершенно заглушая голоса людей и их бодрые песни. Великая симфония труда неслась к бетонным сводам и, казалось, пыталась пробить их, чтобы вырваться на широкий вольный простор, к небу и солнцу.

23 марта, около полудня, случилось несчастье: в одном из колодцев, на улице Риволи, произошел обвал, похоронивший под собой без малого трехсот рабочих; еще несколько сот человек были более или менее серьезно ранены, и часть их умерла в больнице.

Катастрофа сильно взволновала население Парижа и всей Франции; но не было уныния, отчаяния. Всякий понимал, что в предпринятой грандиозной борьбе жертвы неизбежны. Для успокоения взволнованного общественного мнения, строительная комиссия уволила несколько инженеров и распорядилась, чтобы отныне стены колодцев скреплялись двойным против прежнего количеством бетона и железа.

Нависшее над Парижем облако печали быстро рассеялось, и работа закипела с прежней лихорадочной энергией. Люди сравнительно спокойно переступили через несколько сотен новых трупов и с напряжением всех сил продолжали пробиваться наверх, к безбрежным, заманчивым далям.

XXII.

30-го апреля работы были закончены.

Вечером в подземном Париже было устроено грандиозное торжество. Вокруг центрального колодца, на площади

Республики, воздвигнуты были десятки декорированных национальными флагами трибун для ораторов и эстрад для муниципальных и частных оркестров.

Все взоры были устремлены на высокую, устроенную в форме индийской пагоды трибуну, на которой находились члены правительства и строительной комиссии, а также представители рабочей армии, трудами которой воздвигнуто было это грандиозное сооружение.

Когда к балюстраде ее подошел Стефен, подталкивая вперед упиравшегося Грандидье, маленькая фигурка которого совершенно терялась рядом с массивной фигурой президента Европейских Соединенных Штатов, из тысяч грудей вырвался дружный крик:

— Да здравствует Грандидье!

— Скажите нам что-нибудь! Пусть говорит Грандидье!
— на тысячи голосов требовала толпа.

Но старый профессор питал неодолимый страх перед всякой толпой и норовил спрятаться за широкую спину Стефена.

— Пожалуйста! — убеждали его стоявшие на трибуне.
— Скажите им хоть пару слов... Ну, как-нибудь! Это им доставит большое удовольствие.

Но Грандидье, который весь как-то обмяк от страха, продолжал пятиться назад и, по-видимому, испытывал сильное желание провалиться сквозь землю.

Убедившись, что с ним ничего не поделаешь, Стефен водворил жестом тишину и крикнул, обращаясь к толпе:

— Граждане! Виновник этого знаменательного торжества, наш великий друг Жан Грандидье, чувствует себя не совсем хорошо: ему за последнее время пришлось столько поработать и переволноваться! Не будем же его утруждать. Таких людей надо любовно охранять от всякого лишнего утомления и волнения. Когда, благодаря его гениальной идее, мы, наконец, выберемся наверх и сможем зажечь по-прежнему, мы все, весь Париж, вся Франция, окружим его самым внимательным, материнским уходом и будем пользоваться всяким случаем доказать ему свою любовь и при-

знательность. Да здравствует великий гражданин Франции и всего мира Жан Грандидье!

Толпа с энтузиазмом подхватила этот возглас. По данному сигналу десятки оркестров заиграли национальный гимн. Сотни фотографов направили на трибуну свои аппараты, чтобы запечатлеть этот исторический момент; но тщетно искали они глазами Грандидье: он прятался. Газетам и синематографическим фирмам, скрепя сердце, пришлось преподносить публике снимки, на которых фигурировали десятки никому не известных лиц, но не было центрального персонажа: маленького и в то же время великого Жана Грандидье.

Ночью, совершенно так же, как года полтора тому назад, при торжественном освящении подземного Парижа, было потушено искусственное солнце, и под сводами засверкали составленные из звезд надписи. Самая яркая из них гласила: «Да здравствует Грандидье!»

Празднество продолжалось далеко за полночь. Живым, бурлящим и пенящимся потоком переливались толпы народа по улицам и площадям. Воздух оглашался звуками музыки, песнями, криками «ура», веселым смехом и шутками.

Наконец, уже во втором часу ночи, Стефен, с высоты главной трибуны, провозгласил, не без труда добившись внимания:

— Граждане! Не шумите так: наш друг Грандидье лег спать.

Мгновенно тысячная толпа затаила дыхание.

— Тише! Грандидье спит! — вполголоса передавалось от одной группы к другой.

И по мере того как эти слова проникали из улицы в улицу, из квартала в квартал, люди понижали голос и тихо, стараясь не шуметь, почти на цыпочках, расходились по домам. Скоро огромный город затих как замороженный.

XXIII.

Париж, Франция, весь мир со страстным, лихорадочным нетерпением ждали результатов предпринятого грандиозного опыта борьбы с зоотаврами. Газеты только об этом и говорили. Настроение везде было приподнятое. В Англии и Америке заключались пари на миллионы фунтов стерлингов и долларов. Нью-йоркский «World» объявил премию в 200 000 долларов тому из своих читателей, который, на предварительном конкурсе, письмом в редакцию, наиболее точно предскажет день и час гибели первого зоотавра. «Подземный Париж» снова переименовался в «Маленького парижанина», а соперничавшая с ним «Новая эра» возвестила, что в день гибели первого зоотавра она выпустит специальный, богато иллюстрированный номер, который будет раздаваться бесплатно всем желающим.

Стены запестрели объявлениями всевозможных акционерных компаний и торговых фирм, оповещавших публику, что в самом близком будущем их предприятия перенесутся наверх. Строительный трест огромными, кричащими плакатами объявлял, что берется в две-три недели выстраивать для своих клиентов в надземном Париже новые дома или же радикально ремонтировать старые. Известный ресторан «Terminus» печатал в газетах меню обедов, которыми он будет иметь честь угощать посетителей, начиная с первых чисел мая, наверху, в саду при своем доме. Знаменитая оперная труппа под дирекцией Буассо, с своей стороны, объявляла на 10 Мая постановку в Люксембургском саду «Аиды», причем билеты на этот спектакль, несмотря на чрезвычайно высокие цены, были распроданы в течение нескольких часов, и люди хвастали ими, как трофеями победы.

Уже с конца апреля, когда работы по сооружению магнитного поля еще не были закончены, подземный Париж был переполнен приезжими из провинции и из-за границы; но поезда и пассажирские автобусы продолжали выбрасывать новые толпы любопытных, которым во что бы то

ни стало хотелось быть в эти исторические дни поближе к месту предстоявшего великого опыта. Богачи со всех концов земного шара заказывали по телеграфу комнаты, цена на которые поднималась с головокружительной быстротой. Уже 26 апреля, с целью приостановить все растущий поток телеграфных заказов на комнаты, муниципалитет объявил в крупнейших европейских и американских газетах, что в Париже не осталось больше ни одной не только комнаты, но даже кровати свободной; но в тот же день, как бы в насмешку над муниципальными властями, поток телеграфных заказов еще усилился, причем в телеграммах предлагалась очень соблазнительная плата за комнаты; так, известный американский миллиардер Генри Смит, стоявший во главе железнодорожного треста и находившийся в это время в Лондоне, телеграфировал одновременно во все крупные отели подземного Парижа следующее: «Прошу приготовить к первому мая для меня и моей семьи три, две, в крайнем случае одну комнату, за плату сто тысяч франков в день».

Первое испытание электромагнитов было назначено на 2 мая. Действие их регулировалось из подземного Парижа с помощью особого рычага, устроенного у основания центрального колодца на площади Республики и находившегося в непосредственном ведении самого Грандидье, к которому в качестве помощников были прикомандированы академик Жюль Дюбуа и несколько других физиков. Грандидье оставалось только в нужный момент нажать электрическую кнопку — и над Парижем тотчас же протягивалось магнитное поле.

Боялись только, что зоотавры заставят себя слишком долго ждать: по имевшимся сведениям, они сравнительно редко показывались над Парижем, который ввиду своей безлюдности не представлял для них интереса. В первый раз за все эти два с лишним года их ждали с нетерпением, желали их прилета.

— А вдруг они совсем не явятся! — с тревогой говорили парижане, точно хозяева, которые приготовились к приему дорогих гостей и боятся, что все их приготовления бы-

ли напрасны.

Решено было сделать все возможное для их привлечения. Для этого прежде всего нужно было хоть немного населить надземный Париж. Это было нетрудно: тысячи парижан и приезжих заявляли о своем желании тотчас же выбраться на поверхность, чтобы оттуда наблюдать гибель зоотавров. Правда, это было сопряжено с некоторым риском, но любопытство брало верх над страхом. К тому же, целая армия газетных репортеров и фотографов со всего мира считала своим профессиональным долгом быть в эти исторические дни на самом месте предстоявшей борьбы между человеком и крылатыми чудовищами. Специальная делегация их добилась для них от правительства разрешения в первую очередь выбраться на поверхность, вместе с целым штатом механиков и техников, которые могли бы обеспечить правильное действие радиотелеграфа.

Уже 30 апреля большинство их стало устраиваться среди развалин надземного Парижа. Устраивались где и как могли, совершенно игнорируя принцип частной собственности. Так, корреспондент лондонского «Times», с его полудюжиной секретарей и стенографисток, занял полуразрушенный зал заседаний в Городской ратуше, причем над окнами его водрузил английский национальный флаг и огромное полотно, на котором красовалось название его газеты. Корреспондент нью-йоркского «World» избрал своей резиденцией нижний уцелевший этаж Эйфелевой башни, связав ее на собственный счет специальным проводом с радиотелеграфной станцией.

Вслед за представителями прессы потянулись наверх любители сильных ощущений, члены всякого рода спортивных обществ, а затем и просто любопытные. 30 апреля и 1 мая платформы беспрерывно поднимали наверх сотни и тысячи людей. Надземный Париж, после долгого периода полного запустения и заброшенности, стал понемногу оживать. Несколько предприимчивых рестораторов и содержателей кафе открыли на скорую руку устроенные среди развалин кухмистерские и бары, и, несмотря на чрезвычайно высокие цены, очень бойко торговали. Оперная труппа

Буассо сдержала обещание и деятельно готовилась к постановке в Люксембургском саду «Аиды».

В ночь с 30 апреля на 1-ое мая выбравшиеся на поверхность тщетно ждали прилета зоотавров. Не показывались они и в следующую ночь. Везде, где только можно было, зажигались огни, чтобы привлечь их внимание; до самого рассвета дежурили на заранее облюбованных постах репортеры, фотографы и специальные сигнальщики, которые по особому проводу, шедшему через центральную штольню, должны были дать знать вниз о появлении грозных, но на этот раз желанных гостей. Тысячи любопытных, забравшись на крыши более или менее уцелевших домов, вооруженные биноклями и подзорными трубами, напрягали зрение, всматриваясь то в одну, то в другую сторону горизонта; но на ночном небе, усеянном яркими, по весеннему крупными звездами, не было даже отдаленного намека на зоотавров, и только время от времени показывались на нем легкие, белоснежные тучки, которых даже при самом богатом воображении нельзя было принять за нетерпеливо ожидаемых хищников.

Под утро люди, истомленные ожиданием, продрогшие от ночной свежести, спускались со своих вышек и, разочарованные, обманутые в своих ожиданиях, ложились спать.

Внизу, в подземном Париже, люди тоже бодрствовали всю ночь напролет и с трепетом ждали желанного сигнала сверху. Толпы народа возбужденно бродили по улицам; особенно велико было скопление на площади Республики, где у подножия центральной штольни бессменно находился, в комфортабельно устроенной кабинке, Грандидье с его помощниками; у входов в открытые кафе и бары происходила беспрерывная давка. Парижанам не спалось: острое любопытство, нетерпеливое ожидание вождельной минуты, гнало их на улицу.

XXIV.

Ночь на 2 мая выдалась на редкость прекрасной. Уже вечерняя заря полна была обещаний. Заходящее солнце щедро заливало небосклон морем пурпура и багрянца; казалось, что где-то там, за доступными взору гранями, бушует гигантский пожар, который отбрасывает пышное зарево; но пожар быстро потухал, а вместе с ним потухало и отбрасываемое им зарево: ярко-красные полосы бледнели, становились нежно-розовыми, а потом и вовсе темнели; только кое-где долго еще держались отдельные яркие блики, упорно не хотевшие раствориться в темнеющей синеве весеннего неба; но скоро исчезли и эти последние отблески угасавшего дня. Ночь вступила в свои права и один за другим зажигала на небе сторожевые огни. На востоке бледными контурами вырисовывался молодой месяц. С ночью неба повеяло прохладой.

Находившиеся на поверхности люди спешили занять свои наблюдательные посты. На вышке наскоро отремонтированной обсерватории сидели сигнальщики. Фотографы устанавливали свои аппараты. Газетные корреспонденты готовились к исполнению своих обязанностей.

— Сегодня уж наверное прилетят! — слышались уверенные голоса.

На Монмартре, в Бельвилле и Иври, с целью привлечения зоотавров, зажжены были огромные костры. Кое-где на улицах и в окнах домов тоже горели огни.

Но проходил час за часом, а зоотавры не появлялись. Люди то и дело смотрели на часы, нервничали, злились, как если бы кто-нибудь назначил им свидание и обманул их. Там и сям слышалось недовольное ворчание.

— Это черт знает что такое! Уже десятый час, а они и не думают прилетать!

— Неужели нам опять придется зря провести бессонную ночь?

Пробило десять, половина одиннадцатого, одиннадцать, а вокруг, куда только хватал глаз, все оставалось по-преж-

нему тихо и безмятежно. Некоторые, измученные двумя бессонными ночами и пережитыми волнениями, засыпали сидя, приткнувшись в какой-нибудь угол или опустив на стол тяжелую, словно свинцом налитую голову.

Около четверти двенадцатого получена была телеграмма из Христиании, что над восточным побережьем Северного моря замечен был зоотавр. Известие это с быстротой молнии распространилось по надземному и подземному Парижу и вызвало сильное волнение.

— Сейчас прилетит к нам! — слышались радостные возгласы.

Сон и усталость как рукой сняло. Тысячи глаз впились в звездное небо; даже в подземном Париже взоры устремлены были вверх, как если бы люди могли что-нибудь видеть сквозь тяжелые бетонные своды.

В 25 минут двенадцатого надземный Париж огласился взволнованными криками:

— Летит! Летит!

— Где? С какой стороны?

— С северо-востока! Неужели вы не видите?.. Вон там...

Позади *Sacré Cœur*...*

Еще через минуту зоотавр уже ясно виден был даже невооруженным глазом. Среди наступившей вдруг напряженной тишины смутно можно было расслышать треск приближающегося гигантского мотора.

Несколько секунд спустя весть о прилете зоотавра дошла вниз. Миллионы сердец взволнованно забились в чайный великой, решающей минуты: решался вопрос о жизни и смерти человечества.

В 27 минут двенадцатого Жан Грандидье, бледный от волнения, едва державшийся на ногах, нажал в своей кабине электрическую кнопку.

Между тем, наверху люди замерли на своих наблюдательных постах и жадно, с напряжением, которое вызывало боль в глазах, следили за зоотавром.

* Базилика Сакре-Кер (Св. Сердца) на холме Монмартр в Париже.

Он не торопился. Медленно, на высоте двух приблизительно километров, парил он над городом, как бы с наслаждением купаясь в синеве весеннего неба. Он переворачивался с боку на бок, подставляя луне то одну, то другую часть своего чудовищно огромного тела. Отбрасываемый им длинный сноп света лишь смутными контурами выделялся на фоне этой светлой ночи.

Потом, все так же медленно, описывая небольшие концентрические круги, он стал спускаться, и по мере того, как он становился ближе к земле, волнение среди наблюдавших его людей росло. Решительная минута приближалась. Там и сям слышались придушенные голоса:

— Он уже вступил в сферу магнитного поля!

— Нет еще. Он на добрых двести метров выше ее.

— Смотрите, смотрите!

Зоотавр, движения которого до этой минуты были плавны и медленны, вдруг заметался, как ужаленный, стал бросаться во все стороны, конвульсивно задержался, как бы делая отчаянные усилия стряхнуть с себя вцепившегося в него врага. Проектор его погас. Потом чудовище ринулось вниз, грохнулось всей массой на площадь Согласия, разрушив при этом один из домов, в котором, по счастью, никого не было, и тотчас же снова взмыло вверх. Минуту спустя, зоотавр исчез в северо-западном направлении.

— Бежал! — раздались восторженные крики.

А еще полчаса спустя из Ливерпуля по телеграфу пришло известие, что в окрестностях города упал зоотавр, который лежит неподвижной массой и, по-видимому, находится в агонии.

В подземном и надземном Париже весть эта была встречена долго не смолкавшими криками «ура».

Стефен бросился к Грандидье, чтобы поздравить его с великой победой; но когда он вихрем ворвался в кабинку, где находился старый ученый, он нашел его мертвым у коммутатора: Грандидье умер от разрыва сердца в тот момент, когда получено было известие о победе.

На следующую ночь еще два зоотавра попали в сферу магнитного поля — и несколько часов спустя были найдены при последнем издыхании, один у берегов Норвегии, а другой в окрестностях Ланхарона, небольшого городка на юге Испании.

Налеты зоотавров на Париж продолжались еще с неделю, но все они, попадая в площадь магнитного поля, раньше или позже погибали. Наконец, налеты на Париж прекратились: отдав себе отчет в грозящей им здесь опасности, крылатые чудовища стали избегать его.

Опыта с магнитным полем блестяще удался. Наконец-то человечество нашло верный способ борьбы с неведомыми грозными врагами. Париж, Франция и весь мир охвачены были ликованием. Тысяч газета изо дня в день переполнены были подробностями гибели зоотавров.

По взаимному соглашению между всеми странами, 2 мая был провозглашен днем всемирного праздника, а 3 мая днем всемирного траура по спасителю человечества, Жану Грандидье.

Газеты наперебой предлагали тысячи способов чествования его памяти. Между прочим, нью-йоркский «World» предложил, чтобы ежегодно, в час и минуту его кончины, а именно в 10 минут первого ночи, все человечество, по данным световым сигналам, хранило в течение 2 минут абсолютное молчание: мгновенно должны были прекратиться разговоры, музыка, игра артистов в театрах, шум экипажей на улицах, грохот поездов на железных дорогах. Предложение это впоследствии было принято международной комиссией чествования памяти Грандидье.

Одновременно в целом ряде газет открылась подписка на сооружение в разных пунктах земного шара памятников «спасителю человечества».

Парижане с нервной поспешностью стали перебираться наверх. Старое, разоренное пепелище отстраивалось с лихорадочной энергией. Недели две спустя вниз почти

никого уж не оставалось. Печально выглядели покинутые улицы и площади подземного Парижа, и грустно лило на них свой холодный свет никому уже теперь ненужное искусственное солнце.

В видах экономии труда и строительного материала, остовы домов разбирались и, в сложенном виде, подымались наверх. Люди собственными руками разоряли с таким трудом устроенное гнездо. Решено было оставить в неприкосновенном виде только площадь Согласия и две примыкавшие к ней улицы: они должны были остаться вечным памятником пережитого человечеством великого потрясения. Дворец Стефена был обращен в музей, в котором собрано было все, что имело отношение к борьбе с зооавами: докладные записки Гаррисона и Грандидье, планы подземных городов, чертежи, фотографические снимки наиболее драматических моментов из жизни подземного Парижа. Тут же, на площади Согласия, перед дворцом правительственных учреждений, решено было воздвигнуть два памятника: один — Гаррисону, который увел человечество под землю, другой — Грандидье, который дал ему возможность снова выбраться на свет Божий.

Прекратив налеты на Париж, зооавры продолжали появляться в других пунктах земного шара. Даже французская провинция продолжала время от времени делаться жертвой их налетов, и население всей страны, кроме столицы, все еще жило под землей.

На специально созванном уже в надземном Париже совещании решено было раскинуть магнитные поля над Лионом, Лиллем, Страсбургом и Брестом, а впоследствии, если налеты зооавров на Францию не прекратятся, и над некоторыми другими городами.

Уже в первых числах мая приступлено было к устройству гигантских электромагнитов в Англии, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Северной Америке и ряде других стран. Миллионы людей с горячей готовностью вносили посильные лепты в открытые повсюду «фонды спасения», и в сотнях пунктов земного шара дружно кипела работа. Телеграф то и дело приносил известия, что то в од-

ном, то в другом месте начало функционировать магнитное поле и что попадавшие в сферу его действия зоотавры гибли один за другим.

Отдельные страны и города соперничали между собой, как если бы установлен был конкурс на быстроту и наиболее рациональное сооружение защитных электромагнитов. Американцы во что бы то ни стало хотели превзойти европейцев. В течение одного лишь дня, в одном только Нью-Йорке, по национальной подписке было собрано свыше трехсот миллионов долларов, которых хватило бы для целого десятка магнитных сетей огромной силы. Магнитное поле над Нью-Йорком охватывало площадь в сто с лишним квадратных километров, и местные газеты с гордостью отмечали, что американцы и в этом, как и во всем остальном, побили мировой рекорд.

В начале июня сотни миллионов людей в Европе и Америке уже покинули свои подземные обитатели и выбрались на поверхность. Зоотавры мало-помалу совершенно исчезли. Поскольку они изредка еще показывались, они ограничивались налетами на Китай, Индостан, Персию, Центральную Африку и, вообще, на страны малокультурные, где люди не решались бороться с ними, так как принимали их за грозных и мстительных богов, против которых всякая борьба и опасна и беспредельна.

На международном конгрессе, созванном в конце июня в Лондоне для налаживания международных отношений, расстроенных пережитыми за последние два года потрясениями, решено было, между прочим, раскинуть сеть магнитных полей и в тех странах, где их еще не было и которые, таким образом, оставались совершенно беспомощными в борьбе с зоотаврами. Представленные на конгрессе правительства ассигновали на это крупные суммы; открытая с той же целью в Европе и Америке подписка в несколько дней дала такие блестящие результаты, что, по выражению одной газеты, на собранные деньги можно было бы перебросить солидный золотой мост через Ла-Манш. Северо-Американский металлургический трест подписался было на 50 миллионов долларов, но, узнав, что конкуриро-

вавший с ним на мировом рынке англо-германский трест подписался на такую же сумму, поспешил прибавить еще 25 миллионов.

Немедленно были организованы мощные акционерные общества для устройства магнитных полей в Азии, Африке и на островах Океании. Многочисленная армия подрядчиков и инженеров бросилась в Пекин, Калькутту, Тегеран, к истокам Нила, на берег Слоновой кости: магнитные поля вполне оправдывали свое название и обладали огромной притягательной силой для всех жаждущих жизни.

Устройство электромагнитов во многих малокультурных странах наталкивалось на отчаянное сопротивление местного населения. Туземцы, измученные, изголодавшиеся, впавшие в крайнюю нищету, с фаталистической покорностью року относились к непрекращающимся налетам крылатых чудовищ, которых боготворили и которым строили храмы, большей частью разрушаемые самими же зоотаврами. В устройстве электромагнитов, сущности которых они не понимали, они видели только кощунственный вызов новым божествам, глухо волновались и делали все возможное, чтобы сорвать предпринятые работы. Несмотря на установленную высокую заработную плату, туземцы большей частью упорно отказывались наниматься на работу, и подрядчикам приходилось выписывать тысячи рабочих из более культурных пунктов. В некоторых местах, как напр. в Тибете, Шанхае и Бомбее, дело дошло до кровавых столкновений между населением и пришлыми рабочими.

Разумеется, противодействие туземцев было в конце концов сломлено, и уже к концу 1988 года над Азией, Африкой и Океанией была раскинута сеть магнитных полей.

«Вступая в новый 1989 год, — писал в номере от первого января лондонский «Times», — мы с глубоким удовлетворением можем отметить великую победу человеческого гения: ценой неслыханного напряжения всех сил нам удалось окончательно изгнать зоотавров, этих страшных врагов, которые грозили погубить человечество вместе со всей его многовековой культурой. И оглядываясь на не-

давно пережитые тяжкие испытания, мы с гордостью можем воскликнуть: слава науке, которая ярким светочем озаряет исторические пути человечества! Слава человеческому гению!»

XXVI.

2 мая 1989 года весь мир торжественно праздновал первую годовщину избавления от зоотавров.

Париж, Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Петербург, Рим, Мадрид, Берн, Стокгольм, Христиания, Копенгаген, Пекин, Токио, Константинополь, Буэнос-Айрес, Калькутта, Сидней, тысячи других крупных и мелких городов с утра украсились флагами и цветочными арками. Везде возвышались богато декорированные цветами эстрады для музыкантов и ораторов. Фабрики, заводы, банки и конторы, магазины и правительственные учреждения, точно так же, как и школы, были закрыты. Школьникам были розданы книги с подробным описанием борьбы и победы над зоотаврами. На тысячах экранов демонстрировались наиболее яркие эпизоды этой борьбы. Толпы празднично одетого и празднично настроенного народа переливались по улицам и площадям.

К этому знаменательному дню было приурочено торжественное открытие в целом ряде городов памятников Жану Грандидье. Оно должно было состояться во всех пунктах земного шара одновременно, по радио из Парижа.

Над сооружением памятников работала целая армия лучших скульптуров. Каждая страна, каждый город стремились превзойти все другие. Это было мировое соревнование. Газеты обоих полушарий страстно обсуждали вопрос, какой из памятников окажется достойнее «спасителя человечества». В Америке и Англии заключались многомиллионные пари. Нью-йоркский «World» выражал уверенность, что рекорд будет побит его родным городом и изо дня в день в восторженных выражениях описывал воздвигаемую на берегу Гудзонова залива гигантскую гранитную

скалу с возвышающейся на ней, отлитой из чистого золота, фигурой Грандидье. «Наша пресловутая статуя Свободы, — писала газета, — кажется жалкой детской игрушкой по сравнению с этим грандиозным монументом».

Англичане не хотели отстать от американцев и воздвигли на Трафальгарской площади в Лондоне огромную, в 90 метров высоты, колонну из каррарского мрамора, на которой возвышалась серебряная статуя Грандидье; ночью она испускала такой яркий свет, что не только освещала весь город, но могла служить маяком для пароходов в Ла-Манше.

Берлинский памятник тоже поражал своими колоссальными размерами, и в этом отношении немцы успешно конкурировали с американцами. На гигантском, украшенном символическими фигурами бронзовом цоколе, который занимал значительную часть площади перед рейхстагом, возвышалась не менее гигантская фигура Грандидье, в тупище которого был устроен небольшой музей, относящийся к истории борьбы с зоотаврами.

Газеты всего мира были переполнены детальными описаниями воздвигаемых на их родине памятников; одна только французская печать хранила интриговавшее всех молчание: комитет по сооружению памятника в Париже настоял, чтобы газеты до поры до времени ничего не писали о ходе работ.

В знаменательный день 2 мая, около полудня, на площади Согласия, на которой воздвигнут был памятник, — так как именно над ней поражен был первый зоотавр, — скопление народа было так велико, что, казалось, тут собрался весь Париж.

Окна, балконы, даже крыши окружающих площадь домов были сплошь усеяны любопытными.

Ровно в 12 часов с Венсеннского форта прогремел сигнальный пушечный выстрел. С реставрированной Эйфелевой башни пущен был во все концы мира радио об открытии памятников.

В ту же минуту полотна, скрывавшие памятник, упали, и площадь Согласия огласилась восторженными аплодис-

ментами и криками «ура», которые гулко перекатывались по соседним улицам и в течение некоторого времени совершенно заглушали десятки одновременно заигравших оркестров.

Памятник изображал огромного, отлитого из бронзы зоотавра, которого попирала ногами бронзовая же фигура Жана Грандидье со светочем науки в руке. Под зоотавром находился гигантский барельеф, на котором чрезвычайно точно изображен был разрушенный Париж с мятущимися, охваченными паникой толпами народа; но над этой картиной смерти и отчаяния уже вставало животворящее, неумиряющее солнце надежды. На цоколе памятника, золотыми буквами по черному фону, красовалась надпись: «Величайшему из победителей Жану Грандидье».

Еще несколько минут спустя, по радио из Парижа, тысячи оркестров, в тысячах пунктах земного шара, заиграли торжественный гимн во славу человеческого гения.

КАТАСТРОФА БЕЗ ГЕРОЕВ

До конца XX века о фантастике русской эмиграции можно было смело говорить как о *terra incognita*. На сегодняшний день к читателю уже вернулось немало фантастических произведений, созданных в эмиграции — и хотя многое еще предстоит сделать, контуры неведомого материка проступают все яснее. Возвращение продолжается, и сегодня настал черед одного из самых примечательных научно-фантастических романов эмиграции — «Катастрофы» Н. Тасина.

Стоит сказать, что «Катастрофе», впервые изданной в Берлине в 1922 г., повезло больше других. Повезло, конечно, очень относительно: о переиздании романа в СССР и помыслить было невозможно, а в «перестроечные» и «постперестроечные» годы было не до Тасина. И все же любители фантастики могли узнать о романе еще в 1966 году — из опубликованной в третьем выпуске сборника «Фантастика, 1966» статьи Р. Нудельмана «Фантастика, рожденная революцией», воскресившей множество забытых имен. Роману Тасина здесь было уделено лишь несколько строк, однако критик довольно точно отметил некоторые особенности книги:

В романе Тасина нападение марсиан-зоотавров на Землю является лишь удобным предлогом показать будущее Земли, реакцию будущего общества на такую угрозу. «Бесклассовое общество» будущего управляется, по Тасину, благотворными друзьями человечества — инженерами, которые в конце концов отбивают нападение марсиан. Интересны стилизованные находки в книге — умелое сочетание газетных вырезок, протоколов, сводок, отчетов, беллетризованных кусков, оказавшееся очень удачным для изображения массовых сцен, хроники событий.

В 2011-13 гг. «Катастрофа» была переиздана двумя мелкими издательствами, специализирующимися на так называемой «рапидной» фантастике. Эти книги, выпущенные ничтожными ти-

ражами и распространявшиеся по заведомо спекулятивным ценам, остались для большинства читателей недоступными и практически несуществующими. Не приходится удивляться тому, что за прошедшие с 1966 г. полвека о романе Тасина не было сказано ничего внятного.

Между тем, «Катастрофа» принадлежит к двум весьма редким в русской дореволюционной и довоенной фантастике поджанрам — роману об инопланетном вторжении и роману катастроф. Без Герберта Уэллса, вполне понятно, дело обойтись не могло: Тасин не скрывает откровенных заимствований из «Войны миров». Однако его марсиане-«зоотавры», напоминающие гигантских летающих кашалотов, кое в чем отличаются от уэллсовских бурдюков со щупальцами. Они неуязвимы, одинаково хорошо чувствуют себя и в воздухе, и в воде, и в межпланетном вакууме, развивают скорость свыше 33 тысяч километров в час, умеют пускать из глаз смертоносные лучи, а главное — одержимы страстью к бессмысленным разрушениям и массовым убийствам. Зоотавры, словно орудия Апокалипсиса, уничтожают города и деревни, топят корабли, сбивают самолеты, радостно давят своими тушами тысячи людей. Оргия уничтожения не совсем понятна и в романе не объясняется (хотя автор намекает, что люди служат зоотаврам пищей): колонизировать Землю зоотавры не намерены, схваченных громадными когтями людей и даже слонов зачастую просто-напросто сбрасывают с высоты. Непонятно даже, являются ли зоотавры разумными существами или движимыми инстинктами хищными животными.

«Электрические волны», отравляющие газы, аэробомбы — все оружие землян оказывается бессильно против зоотавров. Им ничего не могут противопоставить ни «малокультурные» страны Азии и Африки, ни могучая Северная Америка, ни Соединенные Штаты Европы (действие романа отнесено к 1987-89 гг., и Тасину удалось предугадать появление Европейского Союза). Человечеству остается только одно: бежать под землю. С рекордной быстротой строятся подземные города, миллионы людей уходят в освещенные электрическими солнцами убежища, государства подземной Европы соединяются между собой туннелями. Под землей есть все — заводы и фабрики, поля и леса, каналы и театры, пароходы и «аэромоторы». Нет лишь радости жизни, и это безрадостное подземное существование вскоре приводит миллионы людей к вырождению, психическим заболеваниям, кровавым восстаниям. Наконец, чудотворное средство борьбы с зоотаврами —

магнитные поля — найдено, и поредевшее человечество возвращается на поверхность Земли.

Мы напрасно стали бы искать в романе Тасина научное обоснование будущих достижений: его титанические строительные проекты, которые осуществляются в считанные недели и месяцы, не менее наивны и условны, чем описание зоотавров. Писателя, как верно заметил давешний критик, интересует в первую очередь социум. В этом смысле он заходит дальше Уэллса — если в «Войне миров» повествователем выступает безымянный усредненный англичанин, в «Катастрофе» героев нет. Героями книги становятся толпы, политические партии, города, страны; повествование развивают доклады, отчеты, газетные передовицы, официальные заседания и речи различных ораторов, а действие — увы, слишком часто — подменяется риторикой. Но в романе есть и впечатляющие батальные сцены, и «крупные планы», когда писательский объектив Тасина выхватывает из толпы характерные фигуры, жесты, фразы, и проникнутые подлинным ужасом эпизоды (таковы страницы, посвященные расчистке забитых трупами погибших жителей туннелей под Парижем), и изобретательные вставные «новеллы», где рассказывается, например, о поклонении зоотаврам в Китае, Африке и Индии (факир Рабапутра, взлетающий в луче неземного света навстречу зоотавру, предвосхищает кадры многих и многих голливудских фильмов) или — в духе А. Доде — сепаратистском восстании в Тарасконе.

Впрочем, было бы неправильно утверждать, что «Катастрофа» вовсе лишена героев. Ими становятся технократы, инженеры, которые твердо и целеустремленно, не смущаясь, если требуется, решительными мерами, ведут человечество к спасению. Это президент европейских «штатов» Виктор Стефен, энергичный американец Кресби Гаррисон, автор проекта «подземного мира», и до болезненности скромный старик-физик Жан Грандидье, изобретатель магнитной завесы. Спасение людей требует общих усилий, и Тасин с удовольствием описывает реквизиции, национализацию капиталов, трудовую повинность. «Там, под землей <...> по всей вероятности, снова пойдет неравенство, классовая борьба, вечная война между угнетающими и угнетенными, с революциями, с захватами власти, диктатурами и пр. Но сойти под землю, в наше новое убежище, мы должны равными, как первобытные люди, как если б мы только что появились на земле» — взволнованно восклицает Гаррисон.

«Революции» и «захваты власти» не заставляют себя ждать, причем восстание, объединившее самые разнородные силы, от

крупных капиталистов до сепаратистов, радикальных социалистов и анархистов, не вызывает у автора особых симпатий. После поражения инсургентов в подземном мире воцаряется «капитализм с человеческим лицом»: к примеру, фабриканты низведены до положения управляющих и во всем зависят от правительственных регуляций и рабочих комитетов.

Эти социалистические нотки находят объяснение в биографии автора; правда, в ней немало белых пятен, и наметить ее можно лишь пунктиром.

Журналист, писатель и переводчик Наум Яковлевич Коган (Когана), подписывавший свои литературные труды псевдонимами «Н. Тасин», «Н. Яковлев» и др., родился в Могилеве 8 апреля 1873 г. и с молодых лет участвовал в революционной деятельности. Был членом РСДРП (меньшевик). В феврале 1904 г., находясь в ссылке в Якутске, участвовал в вооруженном протесте ссыльных, известном как «романовский протест»; наряду с прочими «романовцами», был приговорен к 12 годам каторги. По пути на каторгу бежал из селения Урик под Иркутском, с фальшивым паспортом пробрался за границу. Жил в Париже, во время революции 1905 г. скупал в Париже и Лондоне чужие заграничные паспорта, с помощью которых около 150 политических эмигрантов (среди них и сам Коган) вернулись в Россию. В том же году был арестован по делу об организации динамитной мастерской в Петербурге.

В 1910-х гг. писатель жил во Франции, переводил на русский язык П. Мериме, Э. Золя и других французских литераторов, печатался в российской периодике («Русское богатство», «Современный мир»), опубликовал книгу «По воюющей Франции» (Пг., 1915). До 1918 г. издавал газету «Отклики». За высказывавшиеся в ней пацифистские взгляды был выслан из Франции, жил в Испании; в совершенстве овладел испанским, в 1919-21 гг. опубликовал на испанском книги «Русская революция и ее корни», «Диктатура пролетариата» и «Герои и мученики русской революции», заинтересовавшие В. Ленина. Переводил на испанский произведения П. Кропоткина, Л. Троцкого, В. Ленина и А. Керенского, русских классиков — Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, Л. Андреева, М. Горького, Ф. Сологуба и пр.

С 1921 г. Тасин жил в Берлине, публиковался в газете «Дни», журнале «Русская книга». Позднее он обосновался в Вене, где женился на немке из Данцига по имени Амалия; в 1926 г. у них родился сын Александр-Абель. В это же время Тасин стал венским корреспондентом рижской газеты «Сегодня», где с тех пор часто

печатались его очерки, интервью, заметки о нравах, научных изобретениях и т. п.

Фантастика не была случайным увлечением в жизни Тасина. Его газетные материалы демонстрируют устойчивый интерес к футурологии и теме межпланетных путешествий. Роман «Катастрофа» в расширенной автором версии в 1924 г. был выпущен на испанском языке; в 1928 г. появился чешский перевод. В 1936 на чешском языке был издан НФ-роман Тасина «Zlato». В «Сегодня» он напечатал почти полтора десятка рассказов, среди которых немало научно-фантастических (основной их корпус был собран в книге «Аппарат смерти», выпущенной издательством *Salamandra P.V.V.* в 2016 г.).

В последние годы жизни Тасин стал свидетелем, а затем и жертвой не вымышленных бедствий, учиненных фантастическими зоотаврами, но настоящей Катастрофы. После гитлеровского «аншлюса» 1938 г. он с семьей покинул Вену и поселился в Лиенау под фамилией *Kagan-Tassin*. Его последний известный НФ-рассказ «Новое оружие» — мечта о «бескровном» оружии, которое сможет навсегда покончить с войнами — был напечатан в «Сегодня» 1 июня 1940 г. По сведениям исследователей Холокоста, Тасин был убит немцами и их местными пособниками в Лиенау в 1941 г. (то есть либо во время массовых расстрелов евреев в октябре 1941 г., либо во время расправы с узниками лиенаульского гетто в декабре того же года). Судьба его жены и сына остается неизвестной.

Текст книги публикуется по первоизданию 1922 г. в новой орфографии, с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей правописания и пунктуации.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.